

Когда читаешь прозу Ларисы Миллер,
все время хочется воскликнуть:
да, да! так оно и было!

ДИНА РУБИНА

Лариса Миллер
**А у нас
во дворе**

[memoria]

CoRpus



Лариса Миллер

А у нас во дворе

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6649311

А у нас во дворе / Лариса Миллер: АСТ: CORPUS; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-082515-8

Аннотация

“Идет счастливой памяти настройка”, – сказала поэт Лариса Миллер о представленных в этой книге автобиографических рассказах: нищее и счастливое детство в послевоенной Москве, отец, ушедший на фронт добровольцем и приговоренный к расстрелу за “отлучку”, первая любовь, “романы” с английским и с легендарной алексеевской гимнастикой, “приключения” с КГБ СССР, и, конечно, главное в судьбе автора – путь в поэзию. Проза поэта – особое литературное явление: возможность воспринять давние события “в реальном времени” всегда сочетается с вневременной “вертикалью”.

Содержание

Глава 1	6
Дом 10, квартира 2	6
А у нас во дворе	26
Кинотеатр очень юного зрителя	31
Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...	37
На лоне природы	45
Сплошные праздники	51
Мертвый час	60
Родительский день	69
Не ходи за ворота	75
Анна Васильевна с Олимпа	98
Глава 2	103
Мама	103
Папа Миша	123
Конец ознакомительного фрагмента.	131

Лариса Миллер

А у нас во дворе

© Лариса Миллер, 2014

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет,
2014

© ООО “Издательство АСТ”, 2014

Издательство CORPUS®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Да-да, конечно: время мчится шустро,
Но до сих пор загадочная люстра
В театре давнем гаснет не спеша,
И замирает детская душа.

Да-да, конечно: зыбкость, скоротечность.

Но занавес ползет по сцене вечность,
И я со сцены не спускаю глаз
Горящих. Я в театре в первый раз.

Героя звать Снежок. Он – негритенок.
А янки негров мучают с пеленок.
Бинокля я не выпущу из рук.
Идет счастливой памяти настройка.
Ах, жизнь, ты ненадежная постройка:
То пропадает видимость, то звук.

Глава 1

Большая Полянка

Дом 10, квартира 2

Девочка посыпает солью обледеневшие ступени маленькой прибалтийской гостиницы и поет. Она катается на одной ножке там, где еще не посыпано. Русые волосы рассыпаются, закрывая лицо, когда она наклоняется над ведром.

“Алена, тебе не холодно в одном свитере?” – ее мать, дежурная по этажу, кричит в форточку. Какое там холодно. Ей в самый раз. Скользя и напевая, она занимается прекрасным делом: создает устойчивость, точку опоры. Запустила тонкую руку в ведро, достала пригоршню соли, посыпала ступеньку – вот и почва под ногами. Мои дети с азартом скользят по еще не посыпанному льду. Алена спешит туда же, разбрасывая соль. Они перебегают на новое место. Она за ними.

Все визжат и падают, сшибая друг друга.

В детстве все – опора, любая мелочь: старый застиранный бабушкин фартук, который она, кажется, и на ночь не снимает; оранжевый абажур с длинной, грязной бахромой; кнопка звонка, до которого дотянешься, только трижды подпрыгнув. Все это – та же соль, создающая устойчивость.

Родина моя – Большая Полянка. Наверное, никогда не забуду свое исходное положение в пространстве: Большая Полянка, дом 10, квартира 2. Родина моя – купола, “Ударник”, Москва-река, Ордынка, Якиманка. На Якиманке жил наш городской сумасшедший по кличке Груша. У него была вытянутая продолговатая голова и странная манера приседать через каждые несколько шагов. Он шел торопливой подпрыгивающей походкой и вдруг садился на корточки и озибался со счастливой улыбкой. Так, приседая, он добирался до магазина. Послевоенный магазин – костыли, палки, культяпки, хриплые голоса, орущие дети. А возле прилавка безмятежно сидящий на корточках Груша. И никто его не гнал, не бранил. Магазин назывался “инвалидный”. В него стекались инвалиды со всей округи. Но я была уверена, что он звался “инвалидным” потому, что по обеим сторонам прилавка стояли однорукие скульптурки мальчика и девочки. У каждой на локте уцелевшей руки висела корзинка с фруктами. И оба, слегка откинув голову, любовались тем, что держала некогда существовавшая рука. Очередь, духота – все мне было нипочем, потому что я как зачарованная глядела на гипсовых детей.

Мне казалось непостижимым, что такие нарядные и красивые, они – калеки, инвалиды, как те, что, стояли рядом со мной на костылях и культяпках. Не дико ли, что я жалела не живых убогих, которыми кишмя кишел мой тогдашний мир, а безвкусных раскрашенных кукол и утешалась лишь

тем, что мысленно возвращала им руки, а в руки давала все, что могла вообразить, – виноградную кисть, яблоко, кулек любимых конфет-“подушечек”.

Хорошо было сосать “подушечку” и не спеша проходными дворами возвращаться из магазина к своему серому четырехэтажному дому. Вот он: два окна на первом этаже, кофейня под окнами. Едва я входила в квартиру, передо мной вырастала толстая, неряшливая соседка с вечным полотенцем вокруг головы. “Ларочка, не хлопай дверью. Ты же пионерка, а у меня мигрень”, – плачущим голосом говорила она.

Туберкулезный муж ее походил на тень. Лицо его было столь узким, что казалось лишенным фаса. Как ни погляди – профиль: запавший глаз, темное подглазье, худая фиолетовая щека. Я засыпала и просыпалась под его шарканье, кашель и кряхтенье. Мне казалось, что я с ним как-то таинственно связана, потому что из-за него меня постоянно таскали на пирке и называли “бациллоносителем”.

Их дочка Верочка, инвалид от рождения, нежно меня любила и, едва слышав мои шаги, громко и требовательно звала к себе в комнату. Эта Верочка, тридцатилетнее существо с белыми младенческими конечностями и блуждающей улыбкой, была прикована к инвалидному креслу. Когда я входила, она пыталась сосредоточить на мне свой плывущий взгляд и принималась расспрашивать, шепелявя и брызгая слюной: “Ну как ты учишься? Хорошо? Правда хорошо? Ты

умная, ты хорошая девочка”.

От Верочки пахло молоком, как от младенца, и затхло-стью, как от ветоши.

Идиотка Верочка, туберкулезный отец ее, заплеванный туалет, засиженная мухами лампа на кухне — исчезни хоть что-нибудь из этих жутковатых вещей, и образовался бы, наверное, пробел, зиянье. Любая нелепость, любое уродство быта, существующее изначально, становятся приметами устойчивого, незыблемого мира.

Долгий зимний вечер. Золоченые бронзовые часы на буфете отбивают каждые полчаса. Сколько себя помню, помню и эти часы с фигуркой женщины, склоненной над книгой: изящная головка с пучком бронзовых волос на затылке, бронзовые складки длинного платья, бронзовые страницы книги. Бабушка штопает, а я пытаюсь нарисовать мертвую царевну в хрустальном гробу. Мне никак не удастся положить ее в гроб, от огорчения пощипывает в носу и хочется плакать.

Недели за две до Нового года мы с бабушкой начинали делать игрушки для елки. Бабушка варила клей, доставала рулоны цветной бумаги, приготавливала ножницы, и мы принимались за дело. Я была нерасторопна и медлительна. Бабушка, потеряв терпение, отнимала у меня клей и ножницы и сама принималась за дело. Мне же давалось какое-нибудь незамысловатое поручение: складывать готовые игрушки в коробку, выбрасывать обрезки. Но все равно мне было хо-

рошо. Единственное, что иногда заставляло меня внутренне сжиматься, – это страх, что бабушка рассердится на меня за мою непонятливость. Она сердилась бурно, начинала кричать и швырять все, что попадало под руку. “Фашистская девчонка, – кричала она, и губы ее прыгали. – Ух-х-х, фашистская девчонка”. Особенно часто такое случалось, когда я оставляла что-нибудь на тарелке несъеденным или когда не могла решить задачку. Но если мы проводили вечер мирно, я была счастлива.

За новогодними игрушками бабушка забывала время. Часы, пошипев, отбивали девять, потом десять вечера. Глаза мои слипались. Дедушка дремал на диване, прикрыв лицо газетой, которая слегка поднималась и опускалась от его дыхания. Мне хотелось, чтобы вечер никогда не кончался. Но предстояло тоже только хорошее. Новый год, особенный, загадочный и счастливый праздник. Мама и бабушка подновят мой прошлогодний костюм: нашьют новую вату на корону, наклеят блестки на старый бархатный мамин халат, и я снова буду Снегурочкой. Я буду танцевать под елкой какой-нибудь импровизированный танец, когда раздастся пугающе громкий стук в дверь и появится Дед Мороз в длиннополом одеянии с ватным воротником и в шапке, закрывающей пол-лица. “Шолом алейхем, дорогие, с Новым годом, – скажет он. – Шолом алейхем, внученька, дай мне бусинку”.

“Дай мне бусинку”, – говорил дедушка, когда хотел поцеловать меня. Он наклонялся ко мне и целовал осторожно,

бережно, будто боялся кольнуть своими усами.

Нарочито громкий дедушкин голос и весь его преобразенный вид заставляли, замерев, ждать чуда.

А еще были праздники, которые мама устраивала для нас двоих. Вдруг среди недели почти круглосуточной работы у нее случался свободный день, короткая передышка, которая называлась “отгул”. Для меня это звучало как “прогул”, да и означало прогул, потому что в такой день мама разрешала мне не ходить в школу. Мы уже накануне строили планы на завтра. Наступало завтра. Сквозь сон я слышала, как щелкал дверной замок. Значит, мама ушла на рынок. Ранний поход на рынок сопровождал все наши праздники. В такой нерабочий день мама, встав пораньше, накидывала пальто и бежала на рынок. Возвращалась она с чем-нибудь особенным в зависимости от сезона: с баночкой варенца, подернутого коричневой пленкой, с пучком редиски, с букетом сирени или мимозы. Начинался разбор сумок, поиски вазы для цветов, мытье овощей. Я любила мыть редиску. Мне нравилось катать ее между пальцами под струей воды и смотреть, как она становится красной и яркой. Завтрак – миска свежего салата. На пианино – свежий букет. И это только начало дня. А дальше радостные торопливые сборы. Предстоял поход в кино или театр на утренний спектакль. Мама любила безудержное веселье: если кино, то два фильма в день. Если театр, то потом кино или гости. Коловращение, зрелище, шум. К нам приходило много людей. Летом они входили прямо через ок-

но: прыгнуть с низкого подоконника – и в комнате. Накурено. Несколько пепельниц на полу, возле чьих-то ног. Кто-то наигрывает на пианино “цыганочку”, а мама, рыжеволосая, в легком пестром платье, плывет по комнате, раскинув руки и подергивая плечами. Иногда она склоняется к кому-нибудь из сидящих и, заглядывая в глаза, притоптывает на месте. Смех, шуточные поцелуи.

Бабушкины приемы были совсем иными. Собирались родственники. Некоторых я встречала только по семейным праздникам. Не помню их имен и голосов, но помню, как они держат вилки и обсасывают косточки. Бабушка готовилась к торжественному дню с воодушевлением и самоотдачей. В назначенный час на столе появлялось блюдо с фаршированной рыбой. В отдельных мисочках красный хрен, а в глубокой миске – голубцы, перевязанные ниточкой. Эта нитка не давала мне покоя. “Зачем она?” – каждый раз спрашивала я. “Голубцу крылышки перевязать, чтобы не улетел”, – говорили мне. Я долго и задумчиво обсасывала солоноватую ниточку и, не решаясь выбросить, прятала в карман. Но иногда мир кренился.

Однажды во двор прибежал кто-то, крича: “Мальчишка под трамвай попал!” Все бросились на улицу, и я пошла, дерзнув нарушить обещание не уходить со двора. На рельсах лежал мальчик. Он был неподвижен, но кисть его руки слабо шевелилась. Я не могла отвести взгляд от этой смуглой, покрытой цыпками кисти.

Через дорогу стоял деревянный флигелек. И там, на втором этаже, на подоконнике распахнутого окна сидела мать мальчика. Она раскачивалась и громко выла. Мне казалось странным, что она не бежит вниз к сыну. Она куталась во что-то большое, черное, раскачивалась и выла. И этот вой и шевелящаяся детская рука не давали мне уснуть в ту ночь и преследовали еще долго.

В детстве мне казалось, что смерть коричневого цвета. Коричневой была рука попавшего под трамвай мальчика. Смуглым был соседский мальчик, утонувший летом в реке. Он успел хорошо загореть за два летних месяца и лежал в гробу темный от загара.

И темным, сморщенным было лицо старой докторши, умершей в эвакуации. Мы с бабушкой шли за гробом, который медленно тащили лошади вверх по булыжной мостовой. Это мое первое воспоминание о смерти. Бабушка говорила, что докторша выходила меня, умирающую от диспепсии, и добывала для меня неведомо как плохонькие яблоки, редкостные по тем временам. Я не помню докторшу живой, но отчетливо помню ее в гробу: сморщенное смуглое лицо, а на голове белоснежный кружевной чепец. Из-за яблок, которые так часто поминала бабушка, лицо докторши казалось мне крохотным печеным яблоком.

Представление о смерти как о чем-то коричневом разрушилось позже, когда покончила с собой женщина из нашего дома. Я часто видела эту гордую высокую женщину в причуд-

ливой фетровой шляпе на голове. Муж ее, низенький полный еврей, всегда спешил, но, проходя мимо меня, непременно шутил и звал в гости. Говорили, что он военный хирург. Он действительно ходил в военной форме, которая все не шла ему, низкому и толстому. И вдруг он исчез. Однажды я слышала, как мама шепотом говорила, что его посадили. Я представляла, что сажают только бандитов и воров. И никак не могла связать с ним это слово.

А однажды все в нашем доме заволновались, забегали, запричитали. И тут я впервые услышала: “Покончила с собой”. Жена хирурга покончила с собой. Эта смерть была далекой, ненаблюдаемой. Смерть витала где-то там, на самом верхнем этаже, куда я никогда не поднималась. Умерла высокая, гордая, непонятная мне женщина. Она не утонула, не попала под трамвай, не состарилась, не заболела. Она покончила с собой. Слова странные, непостижимые, наглухо закрытые от меня, как шторы на окнах той квартиры, где жила разоренная семья.

В день похорон, мы, дети, стояли внизу и, задрав головы, смотрели наверх, на зашторенные окна. И мне казалось, что время от времени за шторами мелькал какой-то белый колеблющийся свет, будто переносили с места на место свечу.

С той поры смерть перестала быть чем-то доступным моему сознанию и утратила цвет. Я знала, что умирают, но умирают где-то на другом этаже, в соседнем доме, за воротами. Я еще не знала, что умирают свои, родные, те, кто совсем

близко, кто определяет жизнь. Этот новый опыт пришел позже, но ничему не научил: не стало ни легче, ни привычней от того, что это случилось и раз и другой. С годами понятие о смерти стало объемнее: смерть – это не только остановившееся дыхание. Это любая утрата, любой распад, любая необратимость, в которую трудно поверить. И лишь иногда возникает рецидив детской веры в поправимость, в обратимость всего на свете; в то, что любое единство, любая цельность, нарушенные однажды, могут восстановиться вновь. Будто частицы целого навсегда сохраняют память о бывшем единстве и готовы воссоединиться при счастливом стечении обстоятельств. Но где оно, это счастливое стечение? Можно жизнь прожить, а его не будет. И, чтобы убедиться, что все поправимо, надо жить вечно.

И лишь в детстве все восстановимо. Так велика потребность жить и радоваться жизни и столько для этого причин, что их и искать не надо. Вот снят замок с двери котельной. Значит, в котельной дядя Петя, истопник. И мы спешим вниз по крутой плохо освещенной лестнице, чтобы посмотреть, как дядя Петя, лениво матерясь, подбрасывает в котел уголь. А весной он, так же тихо матерясь, будет подравнивать сирень в саду, потому что он еще и садовник. Когда-то в молодости эти кусты сажала моя бабушка. Об этом мне много раз говорили дома. Дядя Петя переходил с приставной лестницей от куста к кусту, а мы, дети, деловито мельтеша, подбирали срезанные ветки. И пахло свежесрезанной сиренью и

дешевым дяди-Петиним табаком.

...Апрельский день. Апрельский ли? Но то была Пасха. Помню небо, высокое, текучее. Да и не было неба. Была только зыблемая голубизна и невесомость. Куда не ступишь, всюду родники и проточные воды. В такой день кажется, что застой невозможен ни в чем: ни в природе, ни в делах, ни в мыслях. Все проточно. Я ничего этого не могла осознать тогда. Но помню небо и воды. Помню, что было зябко, и я старалась засунуть руки в слишком мелкие карманы нового бежевого пальто. Вернее, не нового, а перешитого из мамино-го, но надетого впервые. “Перелицованное”, “демисезонное” – эти два слова я так часто слышала дома на исходе зимы, что у меня навсегда связалось с ними предвкушение весны, талого снега, капли, ломоты в глазах от чересчур синего, чересчур светлого. Это, наверно, еще оттого, что при перелицовке на линиям лицевом фоне изнаночный первозданный цвет кажется особенно ярким. И бывшая изнанка, сохранившая цвет, становится лицом. Первозданный цвет был повсюду: если не перелицовывали, то спускали рукава, удлиняли подол. Всюду мелькали полосы яркого, чистого, изначально-го цвета. И все это означало – весна. За что я помню этот апрельский день, сама не знаю. Ничего не произошло в то пасхальное воскресенье. Я стояла во дворе возле пахнущего свежей краской дощатого столика, а через двор шли старушки. Они шли стайками и поодиночке, некоторые с внучатами. В руках у каждой аккуратный узелок, у некоторых бу-

мажные цветы. И эти старушки казались неременной принадлежностью струящегося лазоревого дня. А посреди двора стояла группа пионеров с тетрадочками наготове. Они проворно и радостно заносили в тетради фамилии знакомых ребятшек, идущих в церковь, чтобы потом передать списки в школу. Это была их внеклассная пионерская работа в пасхальный день.

Не за горами 1 Мая. Скоро будут муку давать. И вдоль домов поползут огромные очереди, напоминающие многоглазое, многорукое, многоногое доисторическое чудовище. И тогда мы, дети, будем нарасхват. Мы прогуляем школу, и нас будут брать напрокат, чтобы получить лишний паек муки. Мы будем показывать друг другу ладошки с фиолетовым номером очереди и спорить, чей длиннее. Чернильный номер на ладони, гудящая очередь, обсыпанное мукой пальто, прогул, весна – неужели мало для счастья?

Вечером мы шли с бабушкой на остановку троллейбуса в надежде встретить маму. Она уходила в свой Радиокomiteт на заре и приходила поздно ночью. Так работали в те времена. Один троллейбус, второй, третий. Вот и она. Мы никогда не были уверены, что дождемся ее, и так радовались ее появлению, что этой радости хватало до конца дня.

А ночью мама выстукивала на машинке свои бесконечные “почтовые ящики” для вещания на Скандинавию. Так назывались передачи, в которых советский журналист снисходительно и терпеливо рассказывал наивным зарубежным дру-

зья о преимуществах советской жизни.

Стук машинки – ночной звук моего детства. Иногда стук на время прекращался: мама курила и размышляла.

Сигаретный дым – ночной запах моего детства. Под утро мама ложилась рядом со мной. А когда я просыпалась, ее уже не было дома. На столе стояла чашка с недопитым чаем, а на блюде лежал розовый от помады окуроч.

Но самое сладкое время наступало перед сном, когда я вела воображаемую жизнь. В этой жизни все кончалось так, как я хотела. Я спускала с дивана руку и держала ее опущенной, пока она не замерзала. Моя замерзшая рука – это кто-то несчастный, заблудившийся в лесу. А другая рука – это я сама. Другая рука шарилась по подушке, по складкам одеяла. Это я блуждала по лесу в поисках пропавшего. И наконец – о радость! – одна рука находила другую. Встреча. Несчастный спасен. Я укладываю его под одеяло. Грейся. Грейся.

Однажды в такой предсонный час я услышала мамин голос: “Женя, приезжай”. Так в нашей жизни появился Женя. Между мной и мамой возник некто высокий, худой, бледное прыщеватое лицо, очки; прямые, немного сальные волосы. Он то и дело встряхивал головой, чтобы убрать их с лица. Мама говорила, что он философ. Я не знала, что такое “философ”, и долго связывала это слово с бледностью, прыщами и очками. Женя иногда мне рассказывал что-то про огненную колесницу и кормил гоголь-моголем. Правда, гоголь-моголь он делал нечасто: то не было яиц, то сахара. Но когда

все было, Женя растирал желток с таким рвением, что лоб его покрывался испариной, а волосы прилипали ко лбу. И тогда страх, что капли пота попадут в чашку, отравлял мне все удовольствие от блюда.

Поздним вечером к маме с Женей приходили гости. Женя садился за пианино и наигрывал песенки собственного сочинения. Вернее, музыка была Женина, а слова мамы. Она пела, а он бойко играл, слегка подпрыгивая и оттопыривая большой палец. “В старом почтовом вагоне сердце мое увезли”. Что-то в этом роде.

Как-то раз я проснулась от зловещего шепота Жени: “А ну, марш в постель”. Проснулась и увидела, что стою возле маминой кровати, босая, в ночной рубашке. Мне стало страшно: как я попала сюда из другой комнаты? Тогда я поняла, что стала бродить ночами. Это случилось, наверное, с появлением Жени, от тоски по маме, когда меня переселили спать в другую комнату. И кончились мои хождения, когда Женя исчез. Мы жили скудно. Однажды мама увидела, как Женя тащит из буфета сахар, который она откладывала для меня, и выгнала его. Та ли была причина или другая, но Женя исчез. Накренившийся мир снова пришел в исходное положение.

Моя первая дружба. Галка Зайцева, белобрыся курносая подружка. Она живет за стенкой, и мы постоянно перестукиваемся и бегаем друг к другу в гости. Однажды мы с ней решили поставить к Новому году спектакль по пьесе Марша-

ка “Двенадцать месяцев”. Набрали во дворе “актеров” и распределили роли. Как-то само собой получилось, что я оказалась режиссером, поскольку идея была моя, да и книжка тоже. Каждый выбрал себе роль по вкусу. Мне очень хотелось быть падчерицей, которая ищет в лесу подснежники, но я уступила эту роль Галке. Я режиссер, и мне неудобно брать себе лучшую роль. Буду принцессой, капризной и взбалмошной. Поздний вечер. Сажу за столом и переписываю роли для всех актеров. Вдруг три звонка и голос в коридоре: “Где ваша Лара?” Дверь в комнату распахивается, и в сопровождении бабушки влетает разгневанная тетя Шура, Галкина мать. “Ты что это? – набросилась она на меня. – Ты что это из моей девки падчерицу сделала, а? Она, значит, падчерица, а ты принцесса? На каком основании?! Знаем мы вас. Небось себя в обиду не дадите”. Она повернулась к бабушке: “А вы куда смотрите? Сами воспитателей учите, а внучка ваша над моей девкой измывается. Больше ее ноги здесь не будет. Принцесса”. Бабушка пыталась что-то ответить, но тетя Шура, не слушая, выбежала за дверь так же стремительно, как вбежала. Спектакль не состоялся, но дружба не расстроилась. Собираясь гулять, я по-прежнему стучала Галке в стенку, и она стучала в ответ или кричала в форточку:

“Иду. Одоюсь”. Но чем старше, тем труднее утешаться, тем меньше событий и дел, в которые можно уткнуться, как в подушку. Уже не столь упоительны стали предутренние часы.

Не давали покоя события дневной жизни.

“Отойди от нас. Ты еврейка”, – сказала мне самая старшая из дворовых подружек. “А что это такое?” – спросила я. “Евреи – это те, у кого черные волосы. Евреи нехорошие. Помнишь, ты меня пихнула, когда у меня нога болела?” Я не помнила, но мозг лихорадочно работал: “Еврейка, черные волосы, пихнула”. Надо пойти домой и спросить.

“Не слушай ее, – говорила бабушка. – Она глупая девчонка”. Но как не слушать, когда за мной бегают по двору и кричат: “Сколько время, два еврея, третий жид по веревочке бежит. Веревочка лопнула и жида прихлопнула”.

Вот когда я впервые поняла, что у меня нет защиты. Мне казалось, что, будь у меня отец, пусть даже такой больной, вечно кашляющий, как у соседки Верочки, все было бы иначе. А что могут сделать с ватагой орущих ребят мама, бабушка и тихоголосый дед. Да их самих легко обидеть.

“Сколько время, два еврея, третий жид по веревочке бежит...” Вот когда я впервые почувствовала себя не такой, как все. Могла ли я думать, что отныне всю жизнь быть мне чужаком и никуда от этого не деться? Нет.

Тогда мне казалось: вот выйду завтра во двор и увижу раскаяние на лицах ребят. И Людка Ведемина, самая старшая из подружек, подойдет и скажет... я не могла вообразить, что она скажет, но сердце замирало и слезы выступали на глазах.

А наутро все повторялось снова, и почва ускользала из-под ног. Ускользание почвы. Иногда это ощущение сладост-

но и желанно. Однажды мальчик, с которым я играла во дворе, сказал, что хочет пить, и позвал к себе. Я впервые попала внутрь чужого дома, на который привыкла смотреть только снаружи. Со двора, знакомого до каждой царапины на стене, вдруг вошла в незнакомую комнату. Секунда отделяла привычное от непривычного, уличный шум от тишины, солнечный свет от комнатных сумерек. Привычное открывалось мне с новой точки. И вдруг все покачнулось и поплыло перед глазами: и тюлевые занавески на окнах, и тикающий будильник, и графин на столе.

Такое же головокружение испытала я на даче в Расторгуеве, когда заблудилась и попала в сырой овраг, голубой от незабудок. Я собирала их, стоя на коленях во влажном мху. Собирала, забыв о времени. Но, очнувшись, испугалась, что не найду дорогу домой, и побежала куда глаза глядят. Через несколько шагов я увидела знакомую крышу и поняла, что была рядом с домом. И с этой новой точки мой дом выглядел странным, нереальным. И все как бы слегка качнулось и сместилось, как занавеска на сквозняке.

И когда такое случается, исчезают стертые, скучные связи. Все распадается. Не рушится, а распадается на отдельные самоценные миги, которые могут сцепиться снова, но в каком-то ином непредсказуемом порядке. А пока ты вне игры и смотришь на все, даже на свою жизнь, как бы со стороны. Но не как отверженный, изгнанный, а в полном согласии с окружающим, раздробившимся на отдельные миги, но со-

хранившим красоту и цельность.

* * *

Московское детство: Полянка, Ордынка,
Стакан варенца с Павелецкого рынка —
Стакан варенца с незабвенною пенкой,
Хронический кашель соседа за стенкой,
Подружка моя – белобрысая Галка.
Мне жалко тех улиц и города жалко,
Той полудеревни, домашней, давнишней:
Котельных ее, палисадников с вишней,
Сирени в саду, и трамвая-“букашки”,
И синих чернил, и простой промокашки,
И вздохов своих по соседскому Юрке,
И маминых бот, и ее чернобурки,
И муфты, и шляпы из тонкого фетра,
Что вечно слетала от сильного ветра.

* * *

И висело белье, полощась на ветру.
И висело белье, колыхаясь от ветра.
О, какое печальное сладкое ретро!
Как из памяти эту картинку сотру?

Синька, бак для белья, и доска, и крахмал,
У бабули в руках бельевые прищепки,
И белы облака удивительной лепки,
И ребенок, стоящий поблизости, мал.
И ребенок тот – я. И белей облаков
Простыня, и рубашка – небесного цвета.
И всему, что полощется, – многая лета,
Цепкой памяти детской, щадящих веков.

* * *

– Да ничего особенного там
И не было. Убожество и хлам
В твоей замоскворецкой коммуналке —
Клопиные следы и коврик жалкий,
И вата между рамами зимой.

– Да-да. Все так. Но я хочу домой
В свое гнездо, к тем окнам, к тем соседям,
К той детворе. Давай туда поедем.
Там во дворе – волшебная сирень.
Там у соседки – сильная мигрень.
Мигрень – какое сказочное слово
И как звучит загадочно и ново!

Там город мой, в котором я росла,

Который я, к несчастью, не спасла,
Там город мой, домашний и зеленый,
Людьми, которых нету, населенный,
Тот город, что моим когда-то был,
А стал чужим. И сам себя забыл.

А у нас во дворе

Мы с Галкой Зайцевой играли в дочки-матери в нашем дворе на Большой Полянке. Гнездышко для дочек – моей целлулоидной Мальвины и Галкиного пупса Машки – свили в одном конце двора, а “молоко” для них носили из другого, где всю весну не просыхала глубокая необъятных размеров лужа. Пока наши “дети” спали после обеда, я в очередной раз отправилась за “молоком”. Возвращаясь с двумя полными ведерками, споткнулась о какой-то булыжник и упала. Попыталась подняться, но, почувствовав острую боль в колене, осталась лежать. Вот полегчает, тогда встану. Пустые ведерки валялись рядом, а я лежала и ждала, когда пройдет колено. И вдруг во двор въехала большая черная машина и двинулась прямо на меня. Видя, что она приближается, я еще раз попыталась подняться, но не смогла. То ли действительно так болело колено, то ли страх помешал. Поняв, что мне не встать, я приготовилась к концу. Гибель под колесами протяжно гудящего черного чудовища казалась неминуемой. Я вжалась в землю и застыла. На секунду приоткрыв глаза, я, как в тумане, различила лица дворничихи тети Маруси, истопника дяди Пети, Галкиной мамы, портнихи Зины из квартиры напротив, Димки и Марика из бокового флигеля... Все они смотрели на меня долгим и скорбным взглядом, прощай, мол, девочка. Жаль твоих близких, но что по-

делаешь – от судьбы не уйдешь. Зажмурившись, я еще сильнее вжалась в землю и вдруг почувствовала, как чьи-то руки подняли меня и понесли. Я открыла глаза и увидела ЕЕ – ту, которая была постоянным предметом моей зависти и восхищения. Во-первых, потому что ей было четырнадцать, а мне шесть. Во-вторых, потому что она была сестрой Юрки Гаврилова, который учился в Суворовском училище и давно мне нравился. В-третьих, потому что ее звали как меня, но при этом она была высокой, стройной и, в отличие от меня, не косолапила. И вот девочка, к которой я и подойти не смела, несет меня на руках. Что же это делается? Только что была на волосок от гибели и вдруг оказалась на верху блаженства. А может, я уже умерла и попала в рай, про который рассказывала тетя Маруся, когда приходила греть мне обед.

Лариса со мной на руках вошла в наш подъезд, позвонила в дверь и вручила меня ничего не понимающей бабушке. “Она упала и ушибла колено. Его надо промыть”, – взрослым голосом сказала Лариса. Бабушка стала усиленно ее благодарить и, о счастье, пригласила в комнату. Пока Лариса пила чай с конфетами, бабушка возилась с моей коленкой. “Что ты дрожишь?” – спросила она. “Ей больно”, – все тем же взрослым голосом объяснила Лариса. Меня действительно била дрожь, но не столько от боли, сколько от недавнего ужаса и сменившего его восторга.

Почти год я рассказывала об этом событии всем, кого считала достойным своего рассказа. Потенциальных слушателей

становилось все меньше, посвященных все больше, а событие не тускнело. Однажды, когда в нашем дворе появилась новенькая, я поняла, что должна срочно с ней поделиться. Тем более что она поселилась в одном подъезде с моей спасительницей. “Ты знаешь Ларису Гаврилову?” – начала я издалека. “Конечно”, – ответила девочка. “А знаешь, что она спасла мне жизнь? – я сделала выразительную паузу и, понизив голос, на одном дыхании произнесла: – Она выхватила меня из-под колес машины”. Девочка потрясенно молчала. Теперь можно было изложить все по порядку. Но в этот момент вмешалась соседка, которая, луща семечки, сидела на той же скамейке: “Лариска-то? Да она kleптоманка”. “Кто?” – не поняла я. “Клептоманка”, – повторила соседка. “А что это значит?” – “Это значит, что она у вас что-нибудь украла. Вы ничего не хватились после ее ухода?” Я тупо смотрела на соседку. “Клептомания – это болезнь, – продолжала она, – человек ворует даже то, что ему совсем не нужно. Он просто не может не воровать. Так что, когда она в следующий раз спасет тебе жизнь и принесет домой, ты все же следи за ней повнимательней. И своим скажи, чтоб следили”. Увидев, что я чуть не плачу, соседка сжалилась: “Да ты не расстраивайся. Она хорошая, просто больная. И мать у нее больная. Но не kleптоманией. У матери падучая. Упадет на пол и бьется, бьется, пока приступ не пройдет. Лариска с ней мается, бедная. Несчастливая семья. Отца на фронте убили, мать по больницам. Хорошо хоть Юрка мало дома бывает. Ладный

такой, кудрявый. Может, хоть он здоровым вырастет”.

Я долго не могла уснуть в ту ночь. “Клептоманка, воровка, падучая”, – вертелось у меня в голове.

Несколько дней спустя я осторожно спросила маму: “А правда, если бы не Лариска, меня бы не было в живых? Правда она спасла меня?” “Ну конечно”, – ответила мама. “Правда машина бы меня раздавила?” – не унималась я.

“Ну нет, не думаю. Зачем ей было тебя давить?” – “Но ведь она ехала прямо на меня”, – настаивала я, пытаюсь спасти то, от чего не в силах была отказаться. “Но водитель ехал медленно, он тебя отлично видел. Просто думал, что ты дурачишься, и гудел тебе, чтоб ты встала”. – “Но ведь вокруг были люди, и никто не подошел ко мне. Только Лариса”. – “Да, конечно, она добрая девочка, – согласилась мама, – но люди могли просто не видеть, что происходит, не придать этому значения”. Я задохнулась от обиды: “Как это не видеть? Они все смотрели на меня, а машина ехала, и колеса уже почти касались моих волос”. “Ну что ты так переживаешь? – удивилась мама. – Все кончилось хорошо. Скоро Новый год. Хочешь, позовем Ларису? Дед Мороз ей тоже принесет подарки”. “А что такое kleптомания?” – не отвечая на мамин вопрос, спросила я. “Это когда...” – и мама повторила то же самое, что сказала соседка. Больше я свою историю никому не рассказывала.

Прошло несколько лет, в течение которых я лишь изредка видела, как Лариса пересекает наш двор. Она стала еще

стройней и выше. Однажды весной я неожиданно столкнулась с ней лицом к лицу. Она была не одна. Рядом шел, вернее неловко прыгал на костылях, темноволосый молодой человек. Правая нога его была в гипсе. Лариса медленно шла рядом с ним, и в ее повернутом к нему лице было нечто такое, что мешало мне с ней поздороваться. Я уже почти прошла мимо, когда она неожиданно окликнула меня: “Здравствуй, Лариса!” Я радостно оглянулась и ответила: “Здравствуй, Лариса!” А про себя добавила: “Которая спасла мне жизнь, выхватив прямо из-под колес машины”.

* * *

А круг, на котором я плавала, быстро спустил.
Мне лет было мало. Я плавать совсем не умела,
А мама не видела, мама на солнышке млела,
А я все барахталась и выбивалась из сил,
Пока не нащупала пальчиком правой ноги
Спасительный камень в одежде из скользкого ила.
...Никак не пойму я, что в жизни случайностью было,
Что Божьим ответом на сдавленный крик: “Помоги!”

Кинотеатр очень юного зрителя

“Ты только, пожалуйста, не задавай вопросов, пока не кончится фильм, – каждый раз умоляла меня мама, – я тебе все потом объясню”. Меня хватало минут на десять, после чего я принималась дергать ее за рукав и шептать: “Это русские или немцы? Наши или не наши? Кто здесь плохой?” Однажды, увидев на экране человека с усиками и в пенсне, я громко зашептала:

“Это враг? Скажи, это враг?” Мама испуганно оглянулась и, больно сжав мне руку, прошипела: “Замолчи!” Ее ярость была настолько неожиданна и необъяснима, что я немедленно потеряла интерес к фильму и сидела, шмыгая носом и смахивая со щек то и дело набегавшие слезы. Но мама смотрела прямо перед собой и вовсе не пыталась меня утешить. Только дома она объяснила мне, что тот, кого я приняла за врага, был сам Молотов и что она могла иметь из-за меня крупные неприятности: “Я тебе запрещаю задавать мне вопросы в кинотеатре, запрещаю. Поняла?” Поняла.

Оставшись один на один с экраном, я сперва растерялась, а потом решила начать новую жизнь, то есть попытаться мыслить самостоятельно. До сих пор помню мое первое независимое умозаключение. Боюсь ошибиться в названии фильма, но кадр был такой: важные дяди заседали в большом кабинете. Единственный, кого я узнала немедленно, –

это Сталина, появление которого на экране сопровождалось бурей аплодисментов. Остальные личности были мне неизвестны и непонятны. Во время беседы самый толстый из дядь подошел к горящему камину и встал к нему спиной, но, внезапно почувствовав сильный жар, не то отскочил, не то вскрикнул. Короче, сделал что-то, вызвавшее смех в зале. “Он плохой, – обрадовалась я своему открытию, – с хорошими такое не случается”. Едва дождавшись конца фильма, я поделилась своей догадкой с мамой, и она подтвердила мою правоту. Толстяка звали Черчилль, и, хотя он не был немцем, он не был и “нашим”. Начался новый этап в моей зрительской биографии – этап самостоятельных выводов.

Но едва я ступила на этот путь, как жизнь подставила подножку. На экраны вышла французская комедия с маловразумительным названием, которое сперва прозвучало для меня как “Скандал в кошмаре”. Иностранные фильмы, как правило трофейные, редко появлялись на наших экранах в те годы. Зритель валил на них валом. Мы тоже пошли, причем на какой-то очень поздний сеанс. Детей, конечно, не пускали, и мама провела меня под полкой своего пальто. С этим фильмом все было странно: и название (которое даже в правильном варианте – “Скандал в Клошмерле” – не стало понятней), и ночной сеанс, и мой контрабандный проход. Мне даже кажется, что картина шла не в обычном большом зале нашего домашнего кинотеатра “Ударник”, а в маленьком зале на первом этаже. Когда погас свет, началось то, к че-

му я вовсе не была готова: замелькали кадры, забежали, засуетились, затараторили многочисленные персонажи с непривычными именами. Не выдержав, я подергала маму за рукав, но она так смеялась, что даже не заметила моих приставаний. В зале стоял непрерывный хохот, в котором я при всем желании не могла принять участия. Чувствуя себя несчастной и покинутой, я принялась пристально следить за маминим лицом, надеясь хоть раз успеть вовремя хихикнуть. Не ведая толком, о чем фильм, я понимала одно: когда все кончится, я не буду знать, что спросить. Мои обычные вопросы не годятся. По дороге домой я задала единственно возможный вопрос: “Про что кино?” “Про открытие общественной уборной”, – сказали мне. Я в недоумении пожала плечами.

Нет уж, лучше ходить на наши картины, в которых я хоть как-то научилась разбираться. А однажды настолько осмелела, что даже попыталась высказать свое критическое отношение и на вопрос бабушки, как мне новый фильм, ответила небрежным: “Так себе”. “Что-о-о? – воскликнула она. – Люди старались, работали, тратили силы, время, чтоб ты, как буржуйская девчонка, привередничала и фыркала?!” Подобная реакция надолго отбила у меня охоту мыслить критически.

Мама тоже предпочитала хвалить все увиденное. Она следовала этому принципу до конца своей жизни и, покупая во время международных кинофестивалей сразу несколько абонементов, смотрела все подряд. На мои недоуменные во-

просы отвечала: “Надо учиться во всем находить хорошее. Даже в слабой картине можно при желании найти что-то интересное: увидеть, как живут люди, что носят, где отдыхают. Сходишь в кино – и как будто в другой стране побывал”. Но это уже о временах не столь отдаленных. А тогда, много лет назад, Москву огласил незабываемый клич Тарзана. Этот фильм был так же прост и ясен, как диалог главных действующих лиц: “Джейн – Тарзан”. – “Тарзан – Джейн”. Мне даже удалось путем собственных наблюдений прийти к выводу, что ни к чему волноваться и зажмуриваться, когда герои идут по краю пропасти, поскольку летят в нее только рабы и черные, что, впрочем, одно и то же.

Не помню, раньше или позже “Тарзана”, но был в моем детстве фильм, совершенно меня околдовавший. Шел он не в “Ударнике”, а в клубе “Красные текстильщики” и назывался “Индийская гробница”. Загадочная красота героев, их странная пластика, экзотические танцы, роскошные дворцы, белые слоны – все было настолько необычно, что вопросов не возникало. Тем более что я привыкла задавать их только маме, а на “Индийскую гробницу” ходила с бабушкой и дедушкой. Выйдя после сеанса на улицу, мы медленно шли по заснеженной Москве. Я напевала, а дедушка насвистывал мелодию из фильма, которую помню до сих пор.

Но с одной картиной моего детства у меня установились особые, сложные и очень личные отношения. “Первоклассница” – как много в этом звуке для сердца моего слилось...

Когда я впервые увидела этот фильм (а видела я его много-много раз) и вернулась домой возбужденная и полная впечатлений, мне рассказали историю, которая меня потрясла. Оказывается, Агния Барто, у которой мы с мамой часто бывали, посоветовала создателям фильма пригласить меня на главную роль. Кто-то из съемочной группы приезжал к нам для переговоров, но бабушка сказала свое категорическое нет. “Не дам калечить ребенка! Не позволю ломать ей жизнь!” Калечить и ломать – эти два слова не выходили у меня из головы. Каждый раз, когда я смотрела “Первоклассницу”, я заново переживала свою трагедию: меня покалечили, мою жизнь сломали. Почти полностью позабыв фильм, я и сегодня отлично помню лицо той, которая снялась вместо меня. Звали ее Наташа Защипина. Сидя в темном кинозале, я постоянно испытывала синдром Царевны-лягушки и с трудом подавляла в себе желание сообщить всем и каждому: “Это я, я должна была играть в этом фильме. Это моя роль!” Однажды придя в гости к своему другу Юрке, я поделилась с ним своими переживаниями.

“Наташа Защипина? – переспросил он небрежно. – Я ее отлично знаю. Она живет в моем дворе. Я даже вчера ее видел, и она рассказала мне свою историю”. “Какую историю?” – спросила я, не веря своим ушам. “Ну, про то, как она была в плену, как ее освободили”. Я потеряла дар речи. Это уж слишком. Мало того что она сыграла мою роль, она еще была в плену, у нее имелось какое-то прошлое. “Врет”, – вдруг до-

гадалась я. “Врет!” – сказала я громко. Но, взглянув на взбивавшую в это время клюквенный мусс Юркину маму и увидев, что она едва сдерживает смех, я поняла, что врет Юрка, а вовсе не Наташа Защипина.

Нет, мне не суждено было стать актрисой. Я осталась зрителем, но зрителем чутким, преданным, благодарным, неравнодушным. А это тоже совсем неплохая роль.

Не плачь! Ведь это понарошку.
Нам крутят старую киношку,
И в этом глупеньком кино
Живет какая-то Нино,
И кто-то любит эту крошку.
Решив убить себя всерьез,
Герой, едва из-под колес,
Вновь обретает голос сладкий...
Но ты дрожишь, как в лихорадке,
И задыхаешься от слез.

Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...

Наблюдать умирание ремесел Все равно что себя хоронить.

Арсений Тарковский

В начале 1950-х к нам домой регулярно ходил высокий, грузный, цыганского вида человек с мощными усами и золотым зубом. Держался он с достоинством, носил просторное пальто и широкополую шляпу. “Наш придворный сапожник”, – называли его домашние. Присев на стул и широко расставив ноги, цыган помещал между ними саквояж, насквозь пропахший кожей, клеем и гуталином, щелкал металлическими запорами и извлекал на свет наши помолодевшие и сияющие башмаки. Нет, не башмаки, а хрустальные туфельки – так осторожно и бережно он ставил их перед нами.

Но главное, чудесный башмачник иногда приносил собственные изделия, творения своих рук. Я не была избалованным ребенком, но однажды потеряла голову. Передо мной явились коричневые лодочки с бантиком и изящным каблучком. Помня, что скромность – мое главное достоинство (высоко ценимое мамой), я молчала, не отрывая взгляда от туфель. Кончилось тем, что мастер сделал для меня другую па-

ру, поменьше, и я носилась с ней как с писаной торбой. Больше носилась, чем носила: ставила возле себя, когда делала уроки, и держала рядом на стуле, ложась спать. Едва нога вырастала, появлялась новая пара – копия первой. Последнюю сносила в 1956-м году.

“Придворный сапожник” был волшебником. Он и платок из кармана вынимал, как фокусник: тянул, тянул, а тот не кончался. Да и можно ли было обычным платком вытереть широкую смуглую лысину и необъятный лоб?

Знали мы и другого сапожника, жившего на противоположной стороне улицы на первом этаже невысокого, типично замоскворецкого дома. В огромном кожаном фартуке он сидел возле окна (летом нараспашку открытого) и, мурлыча себе под нос, постукивал молотком, орудовал шилом, что-то смазывал или латал валенки. А мы, дети, стояли у окна и смотрели. “Свет только не загораживайте”, – просил он. К нему шла вся наша улица: “Петрович, выручай”. И выручал.

Там же неподалеку жила мамина портниха Нина Иосифовна – вход со двора, второй этаж. Окна ее квартиры смотрели в торец соседнего дома, поэтому приходилось постоянно жечь свет (наверное, расплата за то, что жила не в коммуналке, а в своей, хоть и крошечной, квартире). Там все было интересно: ножная швейная машинка, шпульки, булавки, разноцветные лоскутки, которые мне разрешалось собирать, модные журналы на глянцевой бумаге. Интересно было смотреть, как, набрав в рот булавок и валяясь у мамы в

ногах, она закалывает на ней что-то шуршащее и блестящее, а потом, прищурившись, смотрит на все это в длинное, висевшее в коридоре зеркало.

Особой достопримечательностью квартиры был ее муж, Николай Иванович. Когда мы приходили, он здоровался и тут же убегал в свой ярко освещенный угол работать – переписывать ноты. Заказов у него было полно, он всегда спешил, но все делал тщательно и в срок. Я заглядывала ему через плечо, наблюдая, как на пяти линейках с феерической скоростью возникают черные и белые гирлянды нот, диезы, бемоли, точки, палочки. Нина Иосифовна шила исключительно серьезные вещи – костюм, вечернее платье – и только из дорогих тканей, поэтому мама редко к ней обращалась, но сшитое ею носила подолгу.

Если же требовалось нечто легкомысленное, недорогое, летнее, приглашалась Жешка. Ей было около шестидесяти, но никто не звал ее иначе. Шить у Жешки значило на время поселить ее у себя. Не имея ничего своего – ни семьи, ни детей, ни жилья, – она всегда у кого-то гостила, вовсе не жалуясь на судьбу, а, напротив, считая себя счастливой обладательницей легкого характера, тонкого вкуса и, главное, восхитительной фигуры. Скрестив стройные ножки и распарывая мамин старый халат, она без умолку рассказывала свои вечные истории про давнюю скоротечную карьеру балерины кордебалета, про вздыхателя-скульптора, сто лет назад выпившего ее ножки, про новую приятельницу – “красотку,

от которой дохнут мужики”. Но коньком ее был старый как мир и вечно юный сюжет про очередного поклонника, который шел за ней по улице как замороженный, пока наконец не забежал вперед и не заглянул ей в лицо. А глянув, отшатнулся – и “давай бог ноги”.

Тут Жешка принималась хохотать до слез, до колик. Она была фантастически некрасива, но и это превратила в лишний повод для веселья. Неделю спустя мы, слегка обалдевшие от Жешкиной болтовни, восхищенно смотрели в зеркало на мамин наряд – открытый, воздушный, с изюминкой. “Фик-фок на один бок”, – говорила мама.

И кто бы мог подумать, что он перешит из старого.

А за Малым Каменным мостом возле кинотеатра “Ударник” находилась наша “придворная парикмахерская”, куда мама часто брала меня с собой за компанию и для забавы. Я и правда забавляла весь зал, читая стихи и распевая песни. Особенным успехом пользовались песни Вертинского, которые всегда бисировала. А публика там была требовательная. Парикмахеры походили на лордов: сдержанные, корректные, целовали дамам ручки. Один из них, седовласый и статный, был, конечно, первым лордом и лучшим мастером. Все они независимо от габаритов, как бабочки вокруг цветка, порхали в безукоризненно белых халатах вокруг своих дам, орудуя щипцами с легкостью необычайной: нагревая, остужая, вертя их в воздухе, прикладывая на мгновение к губам, чтоб, доведя до нужной кондиции, соорудить нечто феерическое на

дамской головке. Огромные зеркала, просторные залы, широкие окна, где на подоконниках почему-то стояли потрескавшиеся от времени мраморные бюсты не то древнеримских богинь, не то матрон. Не парикмахерская, а дворцовая зала.

Свой парикмахер, свой сапожник, своя портниха... А ведь мы с мамой едва дотягивали до зарплаты, особенно пока жили вдвоем. Но, когда дотягивали, шли “пировать”, покупали в Столешниковом (неприменно в Столешниковом!) два пирожных “картошка”, а в магазине “Сыр” на улице Горького – сто граммов сыра. Боже, какой там стоял сырный дух! Кажалось, сами продавцы и даже вывеска на магазине сделаны из масла и свежих сливок.

Вообще Москва конца 1940-х и 1950-х – это мильон соблазнов, город, созданный для нашей с мамой гульбы. Один только сад “Эрмитаж” чего стоил. Мы иногда проводили там целый воскресный день – гуляя, читая, дремля на скамеечке, – а вечером шли на Райкина. Густые заросли делали сад загадочным, но любая тенистая аллея непременно выводила к маленькому кафе или палатке с чем-нибудь вкусным. Днем было тихо и немногочисленно, зато вечером вспыхивали разноцветные лампочки, на дорожках появлялась нарядная, благоухающая публика, а на эстраде – духовой оркестр. В летнем и зимнем театрах начинались представления, в кинотеатре – фильм, и не знаешь, куда бежать.

Недалеко от Эрмитажа в одном из переулков жил скор-

няк, к которому, впервые услышав от мамы это странное слово, я мечтала попасть. К моему разочарованию, скорняком оказалась обыкновенная пожилая женщина, единственной особенностью которой было синее пятнышко на губе. Но и тут ничего интересного. “Укололась булавкой”, – объяснила мама. Зато квартира превзошла мои ожидания. Не квартира, а берлога, где тихой и темной жизнью жили меха и шкуры. Они валялись на широком диване, лежали, распростертые, на столе, висели, сколотые булавками, на деревянном женском торсе, который легко поворачивался на одной ноге. Но настоящим логовом был необъятный зеркальный шкаф, где на многочисленных полках лежали черные, рыжие, серебристые шкурки, а на распялках висели готовые и полуготовые шубы и полушубки. Казалось, раздвинь их, и попадешь в бесконечный лес шуб, откуда нет возврата. Много лет спустя, читая своим детям сказку Льюиса “Ведьма, колдунья и платяной шкаф”, я вспомнила этот глубокий таинственный шкаф. “Но что могла делать у скорняка мама? – подумала я, пока писала эти строки. – У нее ведь не было в те годы никакой шубы”. И вдруг ясно увидела пальто с каракулевым воротником и такой же шапочкой – мамина бессменная зимняя экипировка в течение многих лет.

“Царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной – кто ты такой?” – считалочка моего детства, которое прошло в послевоенной, неустроенной и все же удивительно домашней Москве. И обжитой ее делали люди, среди которых про-

текала бытовая, повседневная жизнь. Я была слишком мала, чтоб оценить их труд, но в самой их повадке, несуетной и артистичной, в красивых и уверенных движениях чувствовалось достоинство, основательность, добротность и какая-то укорененность. Даже Жешка, которая, казалось бы, шила, как и жила, на фу-фу, имела свой стиль, свой неповторимый волшебный почерк.

Мастером был и часовщик, о котором я знала только понаслышке. К нему еще с довоенных времен дедушка возил все семейные часы, от ручных до настенных. После смерти часовщика в начале 1970-х дедушка отдал наши старинные бронзовые часы в мастерскую, откуда привез их мертвыми. Из той же гильдии мастеров доктор Беленький – детский врач, навещавший меня на первом году жизни. По рассказам мамы, он знал про младенцев все, разрешал им на себя писать, откручивать себе нос и, несмотря на внушительные размеры, имел мягкие, необыкновенно чуткие руки, которыми простукивал и прощупывал чуть ли не всю новорожденную Москву.

Король, королевич, сапожник, портной... И правда, каждый из них – король в собственном микрогосударстве, живущем по законам чести. Надувательство, мошенничество, халтура – это не оттуда. Каждый из них – наследник “проклятого прошлого”, реликт, чудом сохранивший свои свойства после многократных государственных акций по ликвидации личности.

Сегодня эти люди вымерли окончательно, а без них даже самый густонаселенный мир – пустыня. Нет, я не собираюсь перемывать косточки нашему времени – занятие скучное и неблагодарное. Просто, живя в пустыне и испытывая естественную жажду, пытаюсь утолить ее единственно доступным мне способом, припадая к старым, давно пересохшим источникам. А вдруг напоят.

Кривоколенный, ты нетленный.
Кривоколенный, ты – душа
Моей истерзанной вселенной,
Где всем надеждам – два гроша.
Кривоколенный, что за имя,
Какой московский говорок,
Вот дом и дворик, а меж ними
Сиротской бедности порог.
Кривоколенный – все излучки
Судьбы в названии твоём,
Которое – какие звуки! —
Не произносим, а поём.

На лоне природы

Бабушка, закончившая два педвуза (чем очень гордилась), всегда считала, что и с познавательной, и с медицинской точки зрения городскому ребенку необходимо как можно чаще бывать на лоне природы. И в первое послевоенное лето мы сняли дачу на станции Удельная. Бабушка пасла меня, а наша хозяйка – своих коз, чьим молоком меня усердно отпаивали. Когда я с отвращением подносила ко рту кружку, активно участвующая в процессе бабушка складывала трубочкой губы и шумно втягивала в себя воздух, будто пила. Если рядом оказывалась хозяйка, бабушка в очередной раз показывала ей мои торчащие ребра и рассказывала, как в эвакуации я погибала от диспепсии и дистрофии и как она меня выхаживала. Удельная и козье молоко были в моем сознании неразлучны, хотя мне очень хотелось, чтоб Удельная осталась, а козье молоко испарилось навеки. И чудо совершилось. Как-то раз, когда дедушка приехал вечером на дачу, бабушка подала ему на ужин кофе с молоком. Едва он допил стакан, она веселым и звонким голосом сказала: “Ну вот, выпил и не поморщился, а говоришь, что козье молоко терпеть не можешь”. Дедушка покраснел, уставился на нее неподвижным взглядом, потом вскочил и, опрокинув табуретку, выбежал из комнаты. Бабушка бросилась за ним, я за бабушкой. Мы нашли дедушку за калиткой. Его рвало. Я

смотрела на него с ужасом и восторгом, потому что понимала, что после всего случившегося бабушке вряд ли удастся влить в меня хоть одну каплю столь полезного для рахитичных дистрофиков напитка.

Неотъемлемой частью моего раннего детства была Малаховка, где жил с семьей дедушкин давний друг дядя Яша. Хотя его дом стоял на бойком и совсем не дачном месте, поездки в Малаховку все же считались выездом на природу. Для меня – московского дворового ребенка, чьим любимым занятием было смотреть, как заливают асфальт, грызть кусочки черного блестящего вара и нюхать гашеный карбид, – пучок ранней ярко-зеленой травы в Малаховке становился событием. А уж встреча Нового года в заваленном снегом поселке – рождественской сказкой.

Однажды дедушка вернулся домой раньше обычного и сообщил мне, что дядя Яша умер и мы едем в Малаховку с ним прощаться. Всю дорогу он молчал, качал головой, вздыхал и кричал, а когда мы подошли к знакомому крыльцу, вдруг рухнул на колени и громко завыл. Он выл и причитал на том языке, на который они с бабушкой переходили, когда не хотели, чтоб я понимала. Я смотрела на дедушку и не знала, как быть. Зачем он так раскачивается, всхлипывает и надрывно причитает? Зачем касается лбом ступенек? Почему никто из вышедших нам навстречу не бросается его поднимать? От страха я тихонько хныкала и грызла ногти. Вскоре дедушка поднялся и, слегка покачиваясь, пошел в комнату. Подойти

к гробу я не решилась и дядю Яшу почти не видела. Больше, чем смерть, которую я и осознать тогда не могла, меня потряс странный дедушкин поступок. И лишь когда я подросла и дедушка рассказал мне о своем нищенском витебском детстве, о том, как возле его умершего отца, следуя давней традиции, целый день выли плакальщики, я поняла, что случилось тогда на ступеньках малаховского дома.

Так устроена память, что стоит произнести хорошо знакомое имя или название, как немедленно всплывает одна-единственная навеки прилепившаяся к этому слову картинка или деталь. Так, Удельная – это кружка ненавистного козьего молока; Малаховка, в которой я часто бывала и позже и даже снимала дачу, когда у меня родился сын, – это навеки та Малаховка, где на крыльце дяди Яшиного дома качается и причитает дедушка.

Дедушке не везло с друзьями: многие из них рано умерли, а про некоторых у нас дома говорили шепотом и лишь тогда, когда думали, что я сплю. Вопросов про случайно подслушанное я, естественно, не задавала. “Когда посадили мужа, она задушила себя собственной косой”, – донеслось до меня однажды. Я прислушалась. Речь шла о жене дедушкиного друга, старого большевика, о котором спустя годы мы узнали, что его расстреляли перед самой войной. У нас бывала их дочь Еничка, забегавшая поболтать с мамой. Однажды ранней весной она пригласила нас с мамой не то в Перхушково, не то в Полушкино – куда-то, где у них была дача. Мы долго

ехали на дымящем, сипящем, пронзительно свистящем паровичке. Сперва я не отрываясь глядела в окно, а наглядев-шись, отправилась путешествовать по вагону. Добравшись до нужной станции, мы спустились по шатучим неудобным ступенькам и оказались в большой луже. Долго шли по талому снегу, по тонкому льду. Место казалось пустынным, безлюдным, и не верилось, что мы недавно из Москвы. Наконец остановились возле недостроенного забора. “Вот наша дача”, – сказала Еничка. Мы пересекли огромный участок и подошли к дому без окон и дверей. Возле крыльца лежало гигантское серое обструганное дерево. “Милости прошу, – сказала хозяйка, – я покажу вам дом. Вот здесь мы думали устроить папин кабинет, здесь спальню, здесь кухню...” – ее голос странно звенел. Бродя по брошенному дому, слушая Еничку, глядя на ее длинные, красиво уложенные вокруг головы косы, я вспоминала произнесенные шепотом слова: “Она задушила себя собственной косой”. Меня тянуло на улицу и, когда экскурсия завершилась, я с облегчением покинула зияющий пустотами дом и пошла бродить по участку. Меня почему-то загипнотизировало огромное сырое бревно, лежащее возле крыльца. Я его гладила, нюхала, садилась на него верхом. От него, как и от всего, что меня окружало, пахло свежестью, какой я не знала прежде. Когда я слышу “Перхушково-Полушкино”, я всегда вспоминаю эту небывалую весеннюю свежесть, пугающе длинные косы Енички, похожий на привидение дом, талый снег, тон-

кое кружево льда, на которое так приятно наступать медленно и осторожно.

Неожиданных выездов на природу было в моем детстве не так уж много, и каждый запомнился надолго. Помню длинный воскресный день, проведенный в Химках, где жила мама близкая подруга Верушка. С ней у меня навсегда связаны загадочные слова “Блокнот агитатора”, где она работала редактором, мистические буквы ГЛАВПУРКАКА, по-видимому, означающие место, где обретался этот самый “Блокнот”, и часто мелькающее в разговорах Верушки и мамы короткое слово “штром”. Потом оказалось, что такова фамилия Верушкиного друга, который жил в Ленинграде и лишь наездами бывал в Москве. Когда приезжал Штром, Верушка исчезала, а появившись снова, забиралась в угол дивана и долго-долго шепталась с мамой, время от времени прикладывая к глазам сложенный треугольником носовой платок. А глаза у нее были светлоголубые и бесконечно добрые. Мне от этих глаз всегда становилось хорошо и уютно. А еще от того, что она называла меня точно так же, как в своих письмах с фронта папа – Ларчонок. “Ларчонок, – сказала она однажды, – приезжай с мамой ко мне в Химки”. И мы приехали. Химки оказались далеко, и ехать пришлось долго. Химки – это деревянные дома, палисадники, цветы, огороды, лавочки, куры, козы. Вокруг Верушкиного дома – сплошные кусты сирени. Наконец-то я увидела, откуда берутся те небывалой величины букеты, которые она привозила в мамин день рож-

дения. Букет сперва проплывал мимо наших окон на Полянке, потом вплывал в коридор и уж потом в комнату. Только тогда можно было наконец разглядеть Верушку, ее сияющие голубые глаза. Когда мы появились у нее в Химках, она как раз кончала гладить оборки на платье, которое специально для меня сшила. Надев его, я сказала: “Оно парнёе”. “Почему парнёе?” – удивилась Веришка. “Потому что теплое, как парнёе молоко”. Платье пахло уютгом, дом и сад – сиренью, а вечером пряно и горько пах табак, который рос под самыми окнами. Химки, сирень, душистый табак, Веришкины голубые глаза, платье с оборками. Счастье.

* * *

Я сказала себе, что я счастлива. Так и случилось:
Счастье, где б ни была я, меня находить научилось
Я сказала себе: все в порядке, все в полном порядке.
И любые невзгоды бегут от меня без оглядки.
Я сказала себе, что стихи прибегут ко мне сами,
И пришла ко мне Муза и смотрит большими глазами.
И осталось сказать себе: я с каждым годом моложе
И красивей. Надеюсь, и это получится тоже.

Сплошные праздники

“Те, у кого в четверти тройки, возьмите портфели и постройтесь, – сказала учительница Лидия Сергеевна. – А теперь марш за мной в раздевалку. Вы пойдете домой. Остальным тихо выйти в коридор и занять места. Через пять минут начнется кукольное представление “Али-Баба и сорок разбойников”. Мы, троечницы второго класса “Б” (в те годы девочки и мальчики учились в разных школах), повесив головы, побрели за учительницей. Выйдя в коридор, я старалась не смотреть в сторону сцены, но не могла удержаться и сквозь слезы увидела зеленые шторы с блестками и длинные ряды скамеек, на которых подпрыгивали от счастья и нетерпения хорошистки и отличницы. Портфель оттягивал руку: в нем лежал табель, где в графе “арифметика” стояла тройка. Единственная тройка в четверти, лишившая меня спектакля, счастливого возвращения домой и безмятежных зимних каникул. Оставалась одна неделя до нового 1949 года. Я вышла из школы и, ни с кем не прощаясь, пошла домой. Во дворе встретила маму, которая в честь моих каникул пораньше ушла с работы. Увидев мою физиономию, она стала меня тормошить и допрашивать. Я достала табель, показала тройку и все рассказала. На следующий день мама, придя с работы, подозвала меня к столу и, поставив на стол сумку, спросила: “Что в сумке, догадайся?” В сумке лежали биле-

ты – целый ворох театральных и пестрых елочных. Начинаясь новогодняя вакханалия, в которую были втянуты все: бабушка, дедушка, мама и даже мамины подруги. С мамой я ходила на оперетту, с дедушкой – на оперу, с бабушкой – на драму и на все елочные представления.

“С Новым годом, край любимый, наша славная страна!” – вещали золотые буквы на билете, приглашающем на елку в Дом пионеров. На том же билете красовался молодой 1949 год в тулупе и шапке-ушанке, который бежал на лыжах навстречу Деду Морозу с заплечным мешком, а из мешка торчала книжка Гайдара “Тимур и его команда”. Билеты можно было изучать бесконечно.

Взгляни на этот праздничный билет
При электрическом и ярком свете.
И если ты теперь потушишь свет,
Огнями вспыхнет елка на билете.

Эти стихи были напечатаны на обратной стороне билета в Колонный зал Дома Союзов. А на лицевой розовощекий, ясноглазый пионер в красном галстуке, белой рубашке и синих штанах с ляпочками держал пылающую звезду. Алый стяг, алая звезда, алые щеки – светло, ярко, празднично.

Праздник начинался с утра. Я выходила во двор с пригласительным билетом в руках и показывала его дворовым ребятам. Они приносили свои и спорили, чей лучше. Однажды я вынесла во двор свой самый нарядный билет на елку в

ЦДРИ. Он был с секретом. Стоило его раскрыть, как вырастала пушистая елка в гирляндах, выбегали звери из чащи, выезжал Дед Мороз на санях, в которых сидела Снегурочка. И надо всем этим в звездном небе парил лик Сталина. Билет пошел по рукам. “Ну-ка, дай посмотреть”, – сказал сосед Юрка Гаврилов, к которому я была равнодушна с того самого дня, как он приехал из Суворовского училища домой на каникулы. Я с готовностью протянула ему билет. Юрку обступили ребята. Они долго вертели билет и шептались.

“Поди сюда, – наконец позвал Юрка, который стоял возле моего подъезда. – Дотронься языком до ручки”. “Зачем?” – удивилась я. “Дотронься и узнаешь”. Я колебалась. “Дотронься, не пожалеешь, – уговаривал Юрка, – она сладкая. Все уже попробовали”. Мне очень хотелось ему угодить, и я коснулась языком ледяной металлической дверной ручки. Был сильный мороз, и язык мгновенно примерз к металлу. Юрка и ребята, гогоча, бросились врассыпную. Я с трудом оторвала язык от ручки, на которой остались следы крови, и пошла домой, начисто забыв о билете и о елке. А когда наступил вечер и бабушка стала меня торопить, я поняла, что елки не будет – Юрка убежал с билетом. Сказав, что билет потеряла, я легла спать, накрылась с головой одеялом и заплакала. Плакала долго, вытирая нос наволочкой, и наконец уснула.

А назавтра снова елка. И не где-нибудь, а в Доме Союзов. В те годы на елку пускали с взрослыми. И было так сладко,

держась за бабушкину руку, входить в огромный темный зал, в котором тихо звучала музыка и летали снежные хлопья. Я садилась на свое место и озиралась. Зачарованные волшебной метелью зрители разговаривали шепотом. И вдруг – яркий свет, громкий голос ведущего, представление начинается. Мой любимый номер – танец бабочки. На сцену выпархивает танцовщица в чем-то однотонно-белом и воздушном. Она танцует, кружится. Поворот – и наряд становится голубым, поворот – пестрым, потом шоколадным, желтым. Лучи прожектора неотступно следуют за бабочкой, меняя ее крылья. И каждое преображение сопровождается всеобщим “ах”. Но вот лучи гаснут, и на сцене снова танцовщица в однотонном белом наряде. Был еще один номер, которого я всегда ждала с нетерпением: борьба двух нанайцев. Два крошечных человечка, сцепившись, пытались всеми правдами и неправдами уложить друг друга на лопатки. Они стремительно передвигались по сцене, падали, поднимались, забивались в угол, катались по полу. В зале стоял гул: дети хлопали в ладоши, подпрыгивали, давали советы. И вдруг один из нанайцев взлетал в воздух, перед зрителями в последний раз мелькали его валенки и шубка, и он исчезал. Вместо нанайцев появлялся растрепанный и вспотевший молодой человек, на руках и ногах которого красовались знакомые валенки. Зал на секунду замирал и разражался громом аплодисментов. И сколько бы раз ни показывали этот номер, эффект был тот же: гул болельщиков, потрясенное молчание,

гром аплодисментов.

После концерта все бежали к гигантской елке, чтобы присутствовать на торжественной церемонии зажигания огней. Громовой голос Деда Мороза: “Раз, два, три – гори”, – удар его посоха, и елка сияет. Дружное ура, всеобщий хоровод и, наконец, вопрос Деда Мороза: “Кто почитает стихи?” Ну конечно же я. Я знаю столько стихов, что могу читать бесконечно. Выхожу и читаю: “У москвички две косички, у узбечки – двадцать пять”. Или “Счастливая родина есть у ребят, и лучше той родины нет”. Или “Потому что в поздний час Сталин думает о нас”. Дед Мороз берет меня на руки и дарит гостинец с елки. Дальше – танцы. Я всегда была снежинкой в белой юбке и белом кокошнике и пыталась танцевать что-то неизменно воздушное. На одной из елок ко мне подошел принц в узком трико и золоченой куртке. На его голове красовалась маленькая блестящая корона. Он пригласил меня на танец и не отходил весь вечер. Мы вместе пошли получать подарки, и, когда мой бумажный пакет порвался и по полу покатались мандарины и посыпались конфеты и пряники, он бросился собирать. В раздевалке мой принц аккуратно положил на столик возле зеркала все, что подобрал с пола, – вафли, мандарины, печенье – и пошел одеваться. Я чувствовала себя Золушкой на балу и от волнения и спешки не могла попасть в рукава кофты. Скорей, скорей, он ждет. Все. Я готова. Где же он? Оглянувшись, я увидела возле себя высокую стройную девочку. Лицо ее казалось мне знако-

мым. “Меня зовут Таня”, – сказала она, протянув мне руку. “Это твой принц”, – засмеялась высокая молодая женщина, очень похожая на Таню, – Танина мама. Мы пошли к выходу. Бабушка беседовала с Таниной мамой, а Таня пыталась говорить со мной, но я почти не слышала и отвечала невпопад. У троллейбусной остановки мы простились. По дороге домой я почему-то все время повторяла про себя стихи, напечатанные на пригласительном билете:

Говорят, под Новый год
Что ни пожелается —
Все всегда произойдет.
Все всегда сбывается.

Очень часто мои зимние каникулы затягивались благодаря болезни. В конце каникул у меня обычно заболело горло или ухо или разбухали железки, поднималась температура, начинался жар, и я с удовольствием укладывалась в постель. Однажды я обнаружила, что стою на столе и, показывая рукой на стенку, шепчу: “Красный бант, на стене красный бант”. Мама и бабушка испуганно жмутся друг к другу. “Соглашайся, – шепчет бабушка, – когда ребенок бредит, надо соглашаться”. Что было дальше, не помню. Потом узнала, что болела скарлатиной. Детская болезнь – это блаженство. Это жар и легкое головокружение. Это обеспокоенная и заботливая мама, которая не уйдет на работу и будет варить кисель и ставить горчичники. Болеть значит лежать в

постели в теплых носках и ходить в туалет в валенках. Болеть – значит, мне будут читать, а когда спадет температура, на постели появятся книги, карандаши и альбом для рисования. Болеть значит пить сладкую микстуру от кашля, которую выпишет районный врач Бухарина, замечательный детский врач, добрая и вечно усталая пожилая женщина, внезапно и навсегда исчезнувшая где-то в начале 1950-х. Как я потом узнала, ее посадили из-за несчастной фамилии, хотя она никакого отношения не имела к “врагу народа”.

Когда я заболела, я пыталась вспомнить все, что видела за время зимних каникул, и в голове моей была каша. Я отлично помнила “Двенадцать месяцев” и “Синюю птицу”, потому что видела их сто раз и готова была смотреть еще столько же. В “Синей птице” мне больше всего нравились потустороннее царство и Насморк, который в образе молодой женщины с распухшим красным носом бегал по сцене и непрерывно чихал. А в “Двенадцати месяцах” я любила сказочника в полосатых брючках. Он выходил перед каждым действием и, забавно подпрыгивая, приговаривал нечто вроде “бимс-бамс-буры, буры-базилюры”. Еще я помнила пьесу “Снежок”, которую смотрела с бабушкой в ТЮЗе. Снежком звали бедного негритенка, угнетенного и забитого. Его мучили и притесняли белые янки в ненавистой Америке. Как мне хотелось спасти мальчика, выкрасть его, привезти в Москву, поселить у себя, обогреть и утешить! По дороге домой мы с бабушкой строили многочисленные планы по спа-

сению мальчика и посылали проклятья Америке.

Но что же еще я смотрела? Ведь я ходила в театр почти каждый день. Отлично помню, как мы с бабушкой случайно сели не в свой ряд и как дедушка, к моему ужасу, легко и быстро перешагнул через спинку одного и другого кресла и оказался в нужном ряду на наших законных местах. Помню, как он предложил мне последовать его примеру и как я, ни на кого не глядя, пошла по рядам, от смущения наступая людям на ноги. Но что мы с ним смотрели, так я и не вспомнила. Я пыталась восстановить все с самого начала и вдруг отчетливо увидела школьный коридор, зеленые шторы с блестками и большой плакат, где витиеватым почерком было написано: “Али-Баба и сорок разбойников” – самый интересный, самый желанный и самый недоступный спектакль, запретный плод моего детства.

* * *

Нет ни унынья, ни тщеты.
Есть банты, шарики, цветы.
Жизнь – детский утренник, поверьте,
Весть долгожданная в конверте,
Мгновений пестрых конфетти.
Ну что ж, и я во сне кричу,
Но помнить сон свой не хочу.
Тьму напугав, включу фонарик.

А утром, взяв за нитку шарик,
Опять на праздник полечу.

Мертвый час

Что за страсть такая – вспоминать, вспоминать? Летний день. Мой самый первый день в детском саду на даче в Расторгуеве. Нас укладывают спать на улице. Расставлены и застелены раскладушки. “Быстро лечь. Считаю до трех. Раз, два...” – командует воспитательница. Залезаю под одеяло и ложусь на казенную подушку с полустертым фиолетовым штампом: “Детсад ф-ки “Парижская коммуна”. Тоска. Тоска. Мама далеко, в Москве. Кругом все чужие. И этот ненавистный “мертвый час” – дневной сон средь бела дня при ярком солнце. Мимо ходят взрослые, негромко переговариваясь друг с другом. Приехала новенькая. Она опоздала. Ее накормили обедом и разрешили не спать. У нее неправдоподобно писклявый голос. Она говорит со своей мамой, которая дает ей последние наставления, называя “птенчиком”. Я с завистью слушаю писк “птенчика” и смотрю вверх на тонкие верхушки деревьев, которые покачиваются и скрипят. И постепенно к чувству тоски примешивается что-то еще: ощущение новизны, голубизны неба, белизны берез, запах травы, леса, чистого белья; головокружение от плывущих облаков, колеблемой листвы, качающихся вершин; чувство сиротства, заброшенности в текучем, впервые обнаруженном пространстве, где ты один на один с небом, деревом, ветром; чувство покинутости всеми и причастности неизвестно к че-

му. Господи, сколько надо потратить слов, которые я и не знала тогда, в свои шесть лет, чтобы в результате так и не смочь передать и малой доли того, что чувствовала.

Расторгуевское лето 1946-го богато такими “открытиями”. Дождливое утро. Гулять нельзя. Нас усадили за длинный стол на терраске, раздали карандаши и белую бумагу. Дождь стучит в окно, все старательно рисуют, сопя и хлюпая носами. Воспитательница, сидя в углу, точит запасные карандаши. Карандашная стружка пахнет лесом, грифель истончается, растет цветная горка свежезаточенных карандашей. Я умела рисовать лишь несколько вещей: солнце, похожее на ромашку, избушку с традиционной треугольной крышей, человекообразное существо с косой, ягоду, дерево, гриб. Но, несмотря на скудость сюжетов, я извела много бумаги, наплодив уйму разноцветных миров, а аппетит все рос и рос. На какое-то время рисование стало моей страстью. То и дело, найдя лист бумаги и карандаш, я принималась рисовать, желая испытать созидательный раж того дождливого утра. Но “то” не повторялось. Может быть, недоставало рисующих соседей, может быть, растущей горки карандашей, может быть, дождя за окном. Но навсегда осталось томление по сосредоточенной тишине, рождающей миры.

Всматриваюсь в давние мгновения, как в старые снимки. Вот один из них: дети в трусах и майках сидят кружочком на траве, а в центре женщина в белом халате. Это Кира Ивановна, наш музыкальный работник. Она обладала чудесным

прибором, который всегда приносила с собой на занятие и ставила возле себя на табуретку. В начале урока она, ударив по прибору специальным молоточком, извлекала из него звук, который немедленно подхватывала.

“Ля-а-а”, – пела Кира Ивановна, делая нам знак рукой повторять за ней, “Ля-а-а”, – старательно басили и пищали мы. Кира Ивановна снова ударяла по камертону и еще настойчивее тянула свое “ля”. Затем она подходила к каждому и, присев на корточки, приближала ухо к самым ребячьим губам. “Ля-а-а”, – шептали робкие. “Ля-а-а”, – кричали смелые. Она обходила всех и, казалось, вытягивала из нас душу вместе с этим звуком. Наконец, то ли отчаявшись, то ли удовлетворившись, она приступала к занятию.

Однажды Кира Ивановна сказала, что к родительскому дню нам нужно подготовить большой концерт: песни, пляски, игры. “Учим новую игру, – объявила она, – “Цапля и лягушки”. Ну-ка, покажите, как прыгают лягушки на болоте. Так. Молодцы. А теперь идет цапля. Лягушки, прочь по домам. Валя, пройдишь как цапля”. Валя Баранова, миниатюрная, длинноногая, пошла, разведя руки в стороны и высоко поднимая колени. “Так. Тяни носочек. Умница. Вот ты и будешь цаплей. Наденешь крахмальную юбочку, как у балерины. Кто скажет, как называется такая юбка?” “Пачка”, – первая отвечает Валя, которая занимается балетом и все про это знает. Я смотрю на Валю с завистью и восторгом. Как бы я хотела быть на ее месте. Я всегда мечтала стать балериной и

приставала к маме, чтоб меня учили танцам. Мама куда-то меня водила и кому-то показывала. Не помню куда и кому, но помню, что пожилой мужчина постучал по моим коленкам и сказал: “Да что это за Кашей Бессмертный? Вы сперва ее откормите, а уж через годик приводите”. Но через год меня записали в соседнюю музыкальную школу и решили, что этого хватит. И вот концерт, цапля, пачка... Я ни о чем больше не могу думать. Убегаю в укромное место и репетирую: хожу, разведя руки в стороны, высоко поднимая колени и оттянув носок. Близится родительский день. Валя уже примерила пачку. Что делать? “Бабуля, – шепчу я бабушке, которая работала в том же саду завпедом и иногда заходила в нашу группу, – бабуля, попроси Киру Ивановну, чтоб было две цапли на болоте”. “Какие цапли? На каком болоте?” – не понимает бабушка. Торопливо и сбивчиво объясняю ей, в чем дело, но бабушка категорически отказывается по благу устраивать внучку цаплей. Однако через два дня она пришла в группу с чем-то воздушным в руках. То была юбка, которую она спешно для меня сшила. Зажав во рту булавки, бабушка давала мне невнятные команды, что-то подкалывая и подправляя. Я все выполняла как во сне, не помня себя от счастья. “Зашиваю, – сказала бабушка. – Держи палец на лбу, а то пришью память”.

Настал родительский день. Вокруг большого поля стоят длинные ряды скамеек. Те, кому не хватило места на скамейках, сидят прямо на траве. Ко мне приехала мама и привезла

гостинцы. Но я ничего не вижу вокруг себя. Я жду своего выхода. Вот заиграл аккордеон и запрыгали лягушки. “Цапли!” – кричит ведущий. С двух сторон на поле выходим мы с Валец. Господи, какое длинное поле. Иду, иду, а оно не кончается. Машу руками, высоко поднимаю ноги, которые меня не слушаются, а оно все тянется и тянется. Наконец – ура! – поле кончилось. Меня подхватывает мама, целует и сует в рот конфету. А через некоторое время в группу принесли фотографии нашего концерта: медведи, зайцы, бабочки, Кира Ивановна. А вот цапли. Но неужели это я? Рот приоткрыт, руки деревянные, плечи подняты до самых ушей. А главное, ноги с загнутыми внутрь носками. Косолапая цапля! Смотрю на снимок и не могу поверить своим глазам. А мне-то казалось, что я балерина. Зачем же мама так целовала меня? Это было мое самое первое в жизни сильное разочарование. “Нечего голосить, ты не первая и не последняя”, – говорила нянечка молоденькой роженице в роддоме. Не последняя – это правда. Но разве не первая? Первая!

Каждый из нас великий исследователь, первопроходец, открыватель земель и морей. И неважно, что море, открытое мной, уже имело имя, что в нем плескались купальщики, его бороздили корабли. Оно – мое. Я открыла его в первое послевоенное лето в городе Сочи, куда мы с мамой приехали навестить моего дядю, он лежал там в госпитале. Только что кончилась война. Теплый летний вечер. Мама – загорелая, в свободной черной пижаме, с цветком магнолии в

волосах. Дендрарий – пальмы, цветы, кипарисы. Однажды, гуляя в дендрарии, мы услышали нерусскую речь, произносимую тонким детским голосом, музыку, смех. Что это? Пошли на звук и вышли на поляну, где под открытым небом шел мультфильм про олененка, которого учили ходить. Его непослушные ноги разъезжались, и он падал. Может быть, это был Бемби? На скамейках перед экраном сидели зрители, в основном раненые из госпиталя, их друзья и родные. В темноте белели бинты, вспыхивали огоньки сигарет, мелькали светлячки, пахло табаком и магнолией, в южном небе горели звезды, а где-то, неведомо где, во тьме, в глубине плескалось море. Мой самый первый, неповторимый юг – страна, которой больше нет ни в одной точке планеты.

На смену маме приехала бабушка. По утрам мы с ней ходили на пляж. Она была одержима идеей научить меня плавать. Однажды, когда я безмятежно вошла в море, она резво вбежала следом за мной и, обхватив меня поперек живота, потащила все глубже и глубже. Я стала захлебываться и отбиваться. “Дурачина ты, простофиля”, – кричала я, не зная иных ругательств, кроме тех, которые встречала в сказках Пушкина. Но моя энергичная и еще молодая бабушка не отпускала меня, приговаривая: “Плыви. Я держу. Плыви”. Вода попадала мне в рот, я барахталась, рвалась прочь и, наконец поняв, что погибаю, закричала: “Братцы! Спасите!” И “братцы” ринулись спасать. Им это было непросто. На берегу в основном находились госпитальные больные. Откликнув-

шись на мой призыв, они, кое-как, хромая, прыгая на одной ноге, опираясь на костыли, двинулись к морю. Растерянная и смущенная бабушка выпустила меня из цепких объятий и, взяв за руку, повела на берег, сопровождаемая недружелюбными и подозрительными взглядами. Так я и не научилась плавать в то лето.

...Приходилось открывать не только моря и земли, но и душу, чужую и собственную, ее тайники и темноты. Снова Расторгуево. Лето. Но теперь я уже первоклассница. И потому живу не с детьми, а с бабушкой, в доме для персонала. Я часто ходила в младшую группу помогать взрослым укладывать детей. Там я чувствовала себя Гулливером среди лилипутов. Особенно во время “мертвого часа”, когда воспитательница отлучалась и я оставалась полновластной хозяйкой. “Всем закрыть глаза”, – говорила я металлическим голосом. Дети повиновались и лежали не шелохнувшись. Только веки слегка вздрагивали. И лишь одна девочка, испанка по имени Кармен, смотрела на меня широко раскрытыми черными глазами. “Кармен, закрой глаза. Считаю до трех”, – приказала я. Но глаза не закрылись. “Не будешь спать, поставлю возле кровати”. Кармен смотрела на меня. Я подошла и вынула из постели легкое тельце в трусиках и майке. У маленькой испанки была наголо обритая, искусанная комарами и смазанная зеленкой голова. Девочка стояла покорно и тихо. Я уложила ее в постель и потребовала: “Закрой глаза”. Кармен смотрела на меня. “Ах так?! – не унималась я. – Тогда пой-

дем. Я выброшу тебя за забор”. Я схватила малышку на руки и понесла вон из спальни, пройдя между рядами окаменевших, насмерть перепуганных детей. Подтащив девочку к забору, за которым лежала куча угля, я начала раскачивать ее, делая вид, что вот-вот брошу за забор. “Раз, два, три”, – считала я. Девочка молчала, только слегка прижималась ко мне, глядя печальными черными глазами. “Что ты делаешь?” – услышала я перепуганный крик воспитательницы. “Она не хочет спать, – оправдывалась я. – Не слушается. Глаза не закрывает”. “Вот еще командирша на мою голову. Заставь дурака богу молиться...” – сердилась воспитательница, выхватив девочку из моих рук.

Больше на меня никогда не оставляли детей, но я часто приходила в группу, чтоб увидеть Кармен. “Эй, Карман, – кричали дети, – иди, тебя ищут”. Кармен тихо подходила ко мне и молча смотрела. Я протягивала ей яблоко или конфету, но она стояла не шелохнувшись. Тогда я сама вкладывала ей в руку свой гостинец. Я пыталась говорить с ней, но, не зная, что спросить, задавала одни и те же дурацкие вопросы: “Как тебя зовут?” “Кармен”, – еле слышно отвечала девочка. “А у тебя мама-папа есть?” “Есть”, – шептала она. Я ни разу не видела Кармен смеющейся, плачущей, оживленной. Она осталась загадкой для меня. Да и я сама была для себя загадкой: что я хотела от нее? Зачем я ее мучила? Сколько раз со стыдом и недоумением вспоминала я тот давний “мертвый час”. Помню, что, вернувшись с дачи, надеялась найти Кар-

мен в Москве. И даже приходила в дом, где жили рабочие обувной фабрики “Парижская коммуна”, среди которых было несколько испанских семей. Смутно помню тот дом и те семьи. Даже по сравнению с другими коммуналками их жилье казалось мне сырым и убогим. Но Кармен среди них не было.

* * *

Болела моя детская душа:
Я утопила в море голыша,
Случайно утопила в бурном море.
Насмарку лето. Ведь такое горе.
Купили паровозик заводной,
Но нужен был единственный, родной
Голыш – нелепый бантик на макушке.
А жизнь, как оказалось, не игрушки.

Родительский день

В родительский день на завтрак давали два вареных яйца и селедочный форшмак. И то и другое после войны являлось деликатесом. А главное, увертюрой к празднику. Удовольствие портило лишь то, что мой наголо обритый сосед по столу поедал все это вместе с густыми соплями, которые постоянно текли у него из носа. И еще то, что он обожал разбивать яйца о мой лоб. Причем делал это настолько виртуозно, что я не успевала увернуться. А если учесть, что яйца не всегда были сварены вкрутую, то возникали проблемы. Еще одна особенность праздничного меню – пирог с джемом на ужин. Но это уже происходило после праздника, когда кусок, какой бы он ни был сладкий, не лез в горло.

Впрочем, начнем с начала. А начинался этот день не утром, а много раньше, когда становилась известна дата желанного события. С этого момента я жила ожиданием. Причем активным – готовила маме подарки. Во-первых, узнавала у всех, у кого могла – у воспитательницы, у нянечки, у детей, – слова песен, которые часто пелись на прогулках и по вечерам. А песни эти были совсем не детские: “Куда ведешь, тропинка милая”, “Ах, Самара-городок”, “Каким ты был, таким остался”. Я знала, что мама их любит, но не знает слов, и представляла, как она удивится, когда я спою эти песни от начала до конца.

Еще я сушила цветы и травы для гербария, который собиралась ей вручить. А ближе к делу плела венки и собирала землянику, которую нанизывала на травинку.

Последняя ночь перед родительским днем казалась досадной помехой. Я даже встала ночью “на ведро” (чего обычно не делала) и в темноте наткнулась на спящую на полу на матрасе нянечку. “Вот статуя чертова”, – зашипела она, дернув меня за подол рубашки. Проснувшись ни свет ни заря, я мучилась оттого, что не могла вскочить и побежать за калитку встречать маму. Наконец – ура! – подъем, зарядка и, главное, – выдача казенных платьев, которые полагалось надевать в особо торжественных случаях. Что получали мальчишки, не помню. Мне хватало переживаний по поводу собственного наряда. Боже, как я любила эти платья – слегка подкрахмаленные, с высокой кокеткой, с крылышками вместо рукавов, с давно вылинявшими цветами на неопределенном фоне. Фасон, узор – все у них было одинаковое. На то они и казенные. Но вот цвет можно было выбрать. “Красный? Лиловый?” – мучилась я. И тут кто-то из мальчишек крикнул: “Дурак красное любит”. Вопрос был решен – надела лиловое. Оно стояло на мне колоколом, казалось слишком коротким и чересчур широким. Но мне нравилось все: и цветы, и крылышки, и запах свежести (наверное, сушили на дворе). А главное, что казенное платье – это праздник.

После завтрака началось ожидание. Сладостное и мучительное. “К тебе едут!” – слышалось со всех сторон.

“Милка, к тебе едут!”, “Вовка, к тебе едут!” Почему-то в этом случае никогда не говорили “идут”, хотя от станции до нашего детского сада приходилось довольно долго идти пешком. Сперва я торчала возле забора и вздрагивала на каждое “едут”. А потом решила отойти и не ждать. И, едва отошла, услышала желанное: “Ларка, к тебе едут!” И тут же увидела золотисто-рыжую копну маминых волос, ее блестящие серьги и пестрое цыганское (так мы с мамой его называли) платье. Мама шла, слегка пригнувшись и прячась за кустами. Наверное, хотела сделать мне сюрприз. Но слишком она была яркой, чтоб остаться незамеченной. “Ларусик, обезьянка моя! – мама бросилась ко мне, и я повисла у нее на шее. – Осторожно, все подавишь, и ягоды, и пирожное...”

Остановись, мгновенье... И оно остановилось. Время перестало идти. Шли только мы с мамой. Шли, и шли, и пришли на опушку леса, где повесили не помню откуда взявшийся гамак. Усевшись в него, решили заняться вручением гостинцев. Кто начнет? “Эники-беники ели вареники”, – посчитала нас мама и оказалась первой. Она извлекла из сумки морс, ягоды, пирожное “картошка”, коробочку клюквы в сахаре, переводные картинки, белоснежную панамку с еще не оторванным ценником и пахнущие новой кожей сандалии, которые я, слегка покрутив и понюхав, тут же и надела. Потом она велела мне зажмуриться и, взяв мою руку, закрепила на моем запястье... что это? Часы с циферблатом и двумя всамделишными стрелками, одна стояла на девяти, другая

на двенадцати.

Я съела пирожное, выпила морс, вытянула ноги, чтоб постоянно видеть сандалии, отвела в сторону руку, чтоб любоваться часами. Чего еще желать. Но мама снова полезла в сумку и, понизив голос, с таинственным видом произнесла: “Вороне как-то Бог послал кусочек сыра. На ель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала...” Я смотрела на маму во все глаза, а она, продолжая декламировать, медленно вынимала из сумки небольшого формата томик. “Басни Крылова”, – прочла я крупные буквы на обложке. И хотя бумага в этой книжке оказалась серой и тонкой и картинок было не так уж много, я полюбила ее сразу и надолго.

Пришла моя очередь вручать подарки. Я водружаю на мамину голову свой увядший венок, кормлю ее усохшей земляникой, осторожно снимая ее с травинки, кладу ей на колени гербарий и внимательно слежу за ее лицом. Не разочарована ли она? Нет, улыбается, значит, довольна. А когда я запела песни, с гордостью выговаривая слова, случилось то, чего я больше всего желала: мама достала карандаш и бумагу и принялась записывать тексты под мою диктовку.

Но все было слишком хорошо, чтобы длиться вечно.

Мама взглянула на часы, сказала, что пора возвращаться. Я, посмотрев на свои, заявила, что вовсе не пора, поскольку стрелки не сдвинулись с места. “Нет, надо идти, – настаивала мама, – нельзя нарушать правила. Иначе в другой раз не

отпустят на целый день”. Мы снимаем гамак, собираем пакеты, фантики, гостинцы и отправляемся в обратный путь. Знакомое поле, зеленый забор, наша калитка, от которой уже отходят многочисленные тетеньки: мамы, бабушки. Мужчин почти нет. Они были редкостью в то послевоенное время. Я крепко держалась за маму, и ей пришлось ласково, но настойчиво высвобождать свою руку.

Вот и все. Теперь она будет уходить, а я буду ей махать, пока она не скроется из виду. Я знаю, что она плачет и потому боится обернуться. Вот обернулась и, прижав обе ладони к губам, послала мне воздушный поцелуй.

“На ужин”, – крикнул кто-то. Заглатывая пирог с джемом, мой бритый сосед спросил: “Ну, чего тебе привезли?” Я вытянула ногу и покрутила стопой, обутой в сандалий. Он фыркнул и сделал попытку наступить мне на ногу: “Буза. У меня лучше”. Он достал откуда-то из-под стула черный пистолет и набор палочек с присосками. “В лоб хочешь?”

Становилось прохладно. Все потянулись на терраску. Я тоже могу туда пойти и заняться переводными картинками, но что-то не хочется. Хочется уйти в дальний угол участка и слушать паровозные гудки. А в девять отбой.

* * *

Я так ждала родительского дня

И чтобы мама забрала меня
Из группы. Мы в лесу гамак повесим.
Я буду петь. Я знаю много песен.
Читать стихи ей буду без конца.
Я маму жду. Я не уйду с крыльца.
Ей – с шишками еловыми корзинка,
Венок, букет и булки половинка.
Вон меж стволами золото волос.
Ах, мама, твой ребенок не подрост.
Так и бегу с подарком припасенным
Тебе навстречу в платьице казенном.

* * *

А мама собирается на бал.
И жемчуг бел, и цвет помады ал,
На стуле серебрится чернобурка —
Ее не любит мамина дочурка.
Берет не любит, что с распылки снят,
И платье из панбархата до пят.
Ведь, значит, мама из дому уходит
И дочкин праздник из дому уводит.
Не надо было маму отпускать.
Ведь где, скажи, теперь ее искать?

Не ходи за ворота

Только в детстве вся жизнь состоит из самоценных мгновений, которые проживаешь без сверхзадачи, без умысла, а лишь потому, что выпало жить. В детстве жизнь – не борьба, не бегство, не погоня, не отшельничество, не близорукое копошение в сиюминутном. В детстве каждое мгновение – это комната, которую обживаешь просто, подробно и любовно. И оказывается, что, как ни краток миг, в нем есть и середина, и окраина, и закуток, и погреб.

Рефрен моего детства: не ходи за ворота. Я была паинькой и слушалась почти всегда. Но и в пределах двора пространство казалось избыточным. Даже в собственном подъезде каждый этаж – новое измерение. Первый этаж – свой, обжитой, истоптанный. За дверью направо – рыжая бесхвостая брехунья Деська, которая истошно лаяла, когда хлопали двери. На втором этаже белее ступени, гуще краска на стенах. На третьем охватывала сладкая паника – куда забрела? Расстояние между ступенями казалось больше и шагать становилось труднее. А на четвертый этаж решалась только заглянуть, а ступить не решалась. Там я, кажется, и не была никогда. Обратно спускалась быстро, быстро, стараясь не топтать и все ожидая, что какая-нибудь дверь распахнется и раздастся вдогонку сердитый окрик: “Чего тебе тут надо?”

Когда меня стали пускать за ворота, я не знала, куда спер-

ва бежать: в “инвалидный” за “подушечками”, в соседний двор, где дом ломали, или в керосиновую лавку. Дивный запах керосина. Я могла стоять часами, вдыхая этот запах и наблюдая, как продавец в необъятном жестком фартуке разливает через воронку керосин по бидонам. Булькает керосин, звякают крышки бидонов и монеты. Детство мое.

Родина моя.

Моя первая учительница Лидия Сергеевна. Кажется, она всегда носила синее шелковое платье в белый горошек. Лидия Сергеевна иногда приходила к маме рассказывать про свои сердечные дела. Они шептались, сидя с ногами на диване, и немедленно умолкали, если я оказывалась рядом. Однажды, когда я и мама пошли провожать ее до остановки, она поручила мне нести еще не проверенные классные работы. Я несла драгоценный груз, не дыша, и мечтала встретить кого-нибудь из класса, но, увы, не встретила. Мой первый класс... Толстая веснушчатая Наташа Витензон – обладательница красивого грудного голоса. Мы с ней участвовали в классном конкурсе на лучшего чтеца. “О Волга, колыбель моя”, – с чувством и нараспев читала Наташа. На ней была парадная школьная форма: белый фартук и крахмальный воротничок стоечкой. А из-под плиссированной юбки виднелись голые веснушчатые ножки, розовые резинки и пристегнутые к ним короткие чулки. Наташа получила первую премию и книжку, а я, прочитав басню Крылова “Кукушка и петух”, – вторую и открытку с изображением косца на поле

и стихами: “Раззудись, плечо! Размахнись, рука!”

За дальней партой сидела тихая Наташа Вагуртова, которая однажды привела меня к себе домой и шепотом рассказала, как год назад ночью арестовали ее отца; как он, уходя, сказал матери: “Люба, помни, я ни в чем не виноват”; как мать после этого заболела; как у них отняли комнату и оставили угол за занавеской, где они жили втроем – мать, Наташа и ее старшая сестра. Когда мать пришла с работы, я ужаснулась, увидев ее худое изможденное лицо и безумные, вылезшие из орбит глаза. “Щитовидка”, – перехватив мой испуганный взгляд, шепнула Наташа незнакомое мне слово.

...А вот Галка Новикова, смешливая девчонка, у которой я часто бывала в крошечной комнате старого замоскворецкого дома, где она жила с целой кучей братьев и сестер. Все спали на полу вповалку и ели, сидя чуть ли не на головах друг у друга.

Галкина соседка по парте – чудная Мила Садовская. Она часто таскала у подружек всякую мелочь: ластик, промокашку, чистое перо. А когда ее уличали, вставала на колени и, театрально приложив руку к груди, умоляла простить ее, таторя и захлебываясь словами.

Мой любимый класс, в котором я проучилась шесть лет и с которым мне пришлось проститься в 1952 году, когда мы переехали в другой район. Обрыв, и нет Полянки. Поселились в том же Замоскворечье, но прежняя жизнь кончилась. Началась другая, а я еще долго жила прежней. Проснешься и

не понимаешь, где ты и как расположена относительно двери и окна.

Если бы кто-нибудь сказал тогда: “Привыкай к переменам. Эта – не самая страшная. Дальше будет хуже”, – разве бы я поверила? Да так никогда и не говорят, хотя это единственное, что можно сказать в утешение.

В жизни без хирургии не обходится. Жизнь то и дело производит ампутацию, отнимая привычное, дорогое, необходимое. На месте отнятого возникает пустота. Вернее, не пустота. На месте отнятого появляется боль, мука, память.

Память детства – дотошная и капризная. Важное, крупное, стабильное иногда забывается. Но веки вечные может жить мимолетная подробность исчезнувшего быта. Помню, как, однажды проснувшись, увидела перед собою что-то голубое. Протягиваю руки – шелк. Провожу рукой по шелку, он висит на чем-то твердом. Это стул, придвинутый вплотную к моему дивану. И на спинке стула – голубой шелк. На голубом фоне – корзиночки с цветами. Платье. Новое платье. У меня день рождения. Я совсем проснулась, приподнялась на локте и увидела улыбчатую рожицу негра. Деревянная игрушка – белозубый негр в синей нарисованной шапочке. К голове приделан грузик, и голова покачивается вправо-влево. Несколько лет он улыбался мне, покачивая головой. А потом что-то нарушилось, и голова стала застревать в одном положении. Помню, как трудно было запихнуть его куда-нибудь при переезде. Пришлось снимать голову и пако-

вать ее отдельно от туловища.

Дотошная память детства. Память на имена. Помню, что девочку, которая спала рядом со мной в детском саду летом на даче, звали Галка Сидорова. Мне было шесть лет. Каждое лето я ездила на дачу с детским садом, в котором бабушка была на странной должности завпеда. Заведующей была крикливая крепкая сибирячка. А бабушка отвечала за педагогическую работу; в саду у нее одной было высшее образование. Ярко выраженная еврейская внешность, да еще ее вспыльчивость и активность усложняли нашу с ней жизнь. Сколько раз я готова была провалиться сквозь землю, когда заведующая с наслаждением орала на бабушку, а та, нервно хихикая, комкала подол платья. Платье задиралось все выше и выше, и становилось видно трико. Все переглядывались и смеялись, а я сидела пунцовая и боялась поднять глаза. Я вряд ли понимала причину дурного к нам отношения, но знала, что, если что-нибудь нарушу, мне будет хуже, чем другим детям. Оттого с первого дачного дня сжималась и ждала конца лета. Господи, как я хотела, чтобы все обошлось. Я ходила по струнке, и все же...

Особенно тяжело было ночами. На ночь для разных нужд ставили одно ведро на две спальни. Почему-то ведро всегда стояло в спальне мальчиков, и кто-нибудь из них непременно был начеку. Это ведро стало моим кошмаром. Я мучилась до утра, но и помыслить не могла о ведре. Однажды, помучившись, я уснула и во сне почувствовала, что стало лег-

ко и тепло. А когда проснулась, поняла, что лежу на мокром. Меня в жар бросило. Мозг начал лихорадочно искать выхода. В голову приходили самые нелепые мысли. Заметив, что проснулась моя соседка, я позвала ее: “Галя, давай поменяемся простынями, когда будем стелить постель. Мне знаешь как влетит, что моя мокрая, а тебе ничего не будет”. Галя, конечно, отказалась. Подошла нянечка и стала громко звать воспитательницу: “Алексеевна, Фрумина-то красавица описалась. Фрума всех учит, где ей своей внучкой заняться. Пусть теперь полюбуется”.

Мне помогли причесаться. Особенно старательно закрепили на голове атласный бант и посадили на самом виду посреди веранды. А за спиной на веревке развесили мою мокрую простыню. Так я сидела до обеда с пышным бантом в волосах, и все бегали на меня смотреть.

О этот ехидный прищур, с которым глядят на жалкого одиночку.

1953 год. Я вхожу в класс, а в дверях стоит девочка (и опять память услужливо подсказывает ее фамилию – Журавлева) и глядит на меня с тем самым прищуром. Я иду к своей парте, каждой клеточкой чувствуя, что происходит нечто. Но что? Сажусь за парту и вижу, что в моем ряду пусто. Я в ряду одна, а в двух других сидят по трое за каждой партой. Каждого входившего в класс Журавлева спрашивала, указывая на меня: “Ты за нее или за нас?” Я была единственной еврейкой в классе. За меня никого не было. Все

были против. Сидели плечом к плечу, возбужденные от собственного единодушия и сплоченности...

Начались уроки. Учителя сменяли друг друга, но ни один ни о чем не спросил. Все шло как обычно. И только классная руководительница с особым рвением рассказывала о государстве Израиль, и тогда все, дружно повернувшись, глядели на меня.

Потекли дни, и каждый раз после уроков я ждала, что меня избыют. Я знала, что в классе договаривались об этом. И, когда меня подкараулили и обступили, я испытала облегчение: наконец-то. Девочки образовали круг и швыряли меня друг другу, как мяч, не давая опомниться. Особой боли я не чувствовала и страха тоже, а только тупую покорность и удивление, что это происходит со мной. Дома я ничего не сказала. Боялась, что меня начнут провожать и встречать, и весь класс увидит и поймет, что я трушу.

Все кончилось само собой: умер Сталин.

Однажды рано утром в нашу дверь забарабанили, и отчим с вытаращенными от страха глазами бросился отпирать. Едва он отпер, его сгреб в объятия грузный полуодетый сосед по квартире. “Оправдали врачей. Оправдали, – приговаривал он, тиская отчима. – Мы спасены, милый мой, дорогой”.

В этот день моя классная руководительница не пришла. У нее от огорчения началась краснуха. Все расселись по своим местам, и школьная жизнь пошла своим ходом.

Умер Сталин. Рассеянно и не спеша я делала уроки под

звуки траурной музыки. Мой дед лежал с инфарктом. Его кормили с ложечки и подавали судно, но, услышав о смерти Сталина, он поднялся и стоял навытяжку, держась за спинку стула и постанывая. И никто не посмел ему перечить. “Почему?” – спрашивала я себя. Неужели и бабушка так потрясен? Ведь я слышала, как он, старый бундовец, нехорошо говорил о Сталине. Даже назвал его однажды главным виновником всех еврейских несчастий. Почему и для него это такое горе? Вот он стоит, слегка пошатываясь, и слезы катятся по впалым щекам.

Все жили так, будто настал конец света и не сегоднязавтра все рухнет. Полное затмение. И мне было немного стыдно за странное возбуждение и любопытство, которое я испытывала в те дни.

О жизнь, русалочки глаза твои! Как хотелось равномерности, устойчивости, простого доверия к человеку, который рядом. Ведь я никогда не знала, чего ждать от близких: какие страшные у них бывали лица, как жестоки они бывали друг к другу. Сколько раз слово за слово – и разыгрывалась бурная сцена из-за пустяка. Вот моя мама с искаженным злобой лицом, хватая со стола нож, бросается к бабушке, выкрикивая бессвязные, страшные слова. Бабушка рвет на себе кофту, обнажая худую шею.

– Убью, – кричит мама.

– Ну убей, убей, – истерично и звонко отвечает бабушка. Я забивалась в угол и, кусая руки, смотрела на них. Мир

рушился. Казалось, прежняя жизнь кончилась навсегда, и тогда обычные картинки прежней жизни представлялись недостижимым, несбыточным счастьем: вечернее чаепитие под оранжевым абажуром; мама что-то рассказывает бабушке, уютно устроившись в кресле и подвернув под себя ногу; бабушка смеется звонко, по-девчачьи, то откидываясь назад, то сгибаясь в три погибели: “Ох, не могу”, – стонет она. Постепенно смех ее переходит в кашель, и мама делает паузу и ждет, когда бабушка откашляется. Воскресное утро с неизменным ритуалом дедушкиного бритья, за которым я наблюдаю, лежа в кровати. “Как прекрасно это море”, – насвистывает дед, водя бритвой по ремню, привязанному к ручке зеркального шкафа. “Ж-жик, ж-жик, ж-жик” – такой домашний звук. Такая дорогая картинка: дедушка в нарукавниках, намыленные щеки, аккуратные, экономные движения, деликатно оттопыренный во время бритья мизинец, а на столе на куске газеты – горки мыльной пены, посеревшей от сбритых волосков. Мама, лежа рядом со мной, читает мне вслух, гипнотизируя меня неожиданными модуляциями голоса и странной мимикой: она то шепчет, то выкрикивает слова, брови ее то сходятся к переносице, то взлетают. Я почти не понимаю слов, наблюдая за ее голосом и лицом. И все, что она читает, кажется заколдованным и таящим какой-то второй, недоступный мне смысл. И вот все рушится. “Убью, убью”, – кричит мама и, нелепо выгнув худенькое запястье, сжимает побелевшими пальцами нож. Где мне было

знать, что она никогда не ударит этим ножом, что слова, которые она выкрикивает, не имеют прямого смысла, что передо мной две издерганные, больные женщины, пережившие войну? Проходили дни, шла обычная жизнь, а я еще долго заглядывала им в лица, спрашивая себя: “Да было ли все, что было, и помнят ли они?”

Сколько бы раз ни повторялись эти сцены, я не могла к ним привыкнуть. Так хотелось цельности, определенности – и чтоб можно было сказать о человеке: “Он не способен на такую низость. Он этого не сделает. Он так не скажет”.

И вот такой человек рядом. Каждый день с ним – подарок. Он рядом со мной уже много лет. Мне кажется, до него я жила так, будто стояла на скользком мшистом камне. Когда-то в детстве, живя на море, я очутилась далеко от берега на огромной черной камере. Камера спустила, и моей единственной опорой стал скользкий камень, покрытый мхом. Я стояла на цыпочках, высоко задрав подбородок, чтоб вода не затекала в рот. А мох шевелился и жил под моими ногами, и чудилось, что опора вот-вот исчезнет. Солнце слепило, от колеблющейся воды кружилась голова. Казалось, малейшее движение, даже звук, и я захлебнусь, потеряв равновесие. Меня спасли, но ощущение, что стою невесть на чем и вот-вот уйду под воду, осталось, пока не появился ты, ставший моим берегом, твердою, единственной незыблемостью на свете.

Ты был мне обещан давным-давно, в те времена, которые

удерживает детская память. В эвакуации я дружила с белокурым мальчиком, который носил твое имя. Мы были неразлучны: нас купали в одной ванне, одной мочалкой и одним куском мыла. Мы откусывали от одного ломтя хлеба. Нас одевали в одинаковые серые с красной каймой платья. И, когда оказалось, что мальчику надо ехать в Сибирь к отцу, мы плакали, обнявшись. Нас оттащили друг от друга, и между нами вырос темный, голый стол. Мы еще были в одной комнате, но уже врозь. Нас разделяло нечто тяжелое, дубовое, непреодолимое. Мне казалось, этот стол и есть причина разлуки, препятствие, которое нельзя обойти.

Наверно, и вправду мы рождаемся с памятью о разлуках, радостях, любви и потерях, бывших до нас. Мы рождаемся с этим грузом, еще не имея собственного. И каждый раз собственный опыт есть как бы узнавание того, что неосознанно жило в нас до рождения. Иначе почему так потрясла меня, трехлетнюю, эта разлука? Иначе почему, еще не зная утрат, я все детство боялась за своих близких, особенно за деда? Когда садились в транспорт, я всегда стремилась пропустить его вперед, опасаясь, что он не успеет сесть и двери захлопнутся, прищемив ему ногу. Я никогда не жаловалась ему на дворовых ребят, потому что боялась, что он вступится за меня, и его обидят. Он был худенький, двигался легко и всегда занимал удивительно мало места. До сих пор не понимаю, откуда такая грация и деликатность у еврея-самоучки, выросшего в нищей многодетной семье, в которой он

рано стал единственным добытчиком? Он говорил тихо, но с сильным еврейским акцентом, имел ярко выраженную еврейскую внешность и всегда привлекал к себе внимание. Я особенно боялась за него, когда началось “дело врачей”. Однажды он провожал меня к учительнице музыки. Мы шли по улице, и он тихо напевал.

Встречный мужчина грубо задел его плечом и просипел: “Пой, пой, жидовский нос. Скоро не так запоешь”. Помню свой тогдашний ужас, потому что я, маленькая, не пережившая ни одного погрома и вряд ли знавшая о них тогда, без труда вообразила всеобщую ненависть и готовность к рукопашной. Что ж это такое, как не врожденная память о чужих кошмарах? Будто до нынешней жизни прожила другую жизнь и, может быть, не одну, а несколько. Не оттого ли, слушая какой-нибудь русский романс, вдруг затоскуешь по старому усадебному быту, по разным его подробностям, которые, начни перечислять, покажутся литературой, а неназванные ощущаются остро, живо, как собственное прошлое?

Не оттого ли, когда слышу: “Пречистенка”, “Остоженка”, – сердце сжимается от тоски по старой Москве, хоть и не звались так московские улицы на моей памяти. И живи я тогда, не в Москве бы жить мне, а где-нибудь в черте оседлости.

А где-то на стыке моего и чужого опыта сохранилось воспоминание (воспоминание ли?) об эвакуации из Москвы: вокзал, толпа и папа в какой-то лохматой куртке держит ме-

ня высоко над головой, чтобы мама и бабушка, которых он потерял, увидели. Я плыву и плыву над людскими головами, и вдруг пронзительный бабушкин крик: “Ларочка-а-а!”. Что было дальше – не помню.

Память дискретна: вспышка и снова темно. Вспышка – и я вижу товарный вагон, печку-буржуйку, возле которой суетятся люди: бабушка чистит печеную картошку, перекладывая ее из руки в руку, дует на нее, солит и протягивает мне. Я откусываю прямо из бабушкиных рук. Изображение снова гаснет, а когда вспыхивает, вижу, как бегаю по вечерней куйбышевской улице во время воздушной тревоги, пытаюсь поймать, сжать в ладонях мечущиеся лучи прожектора. Мне не удается, и я, скинув варежки, ловлю и ловлю их голыми руками.

Но могу ли я помнить все это, если мне было тогда полтора-два года? И все же граница между чужим и собственным опытом иногда столь подвижна и неопределима, что и не знаешь, где свой, где чужой.

Потому, вероятно, еще и не зная утрат, я всегда жила так, будто знала их в какой-то прежней жизни. И любую устойчивость, стабильность принимала не как должное, а как редкое везенье и поблажку. И чем дальше жила, чем больше в эту жизнь вращалась, тем становилась уязвимее.

С раннего детства жизнь одергивала меня, уча оглядке. Но мыслимо ли научиться недоверию, когда лишь доверие позволяет жить? Лишь веря, что воды не затопят нас, ветры

не сдуют с лица земли, ближний не нанесет удар в спину, можно дышать, детей растить и спать ночами. А в детстве полон доверия к каждому, готов каждому открыться. И так хорошо, когда в двух шагах живет подружка и можно то и дело бегать друг к другу.

Мы сидим в моей комнате, жуем пряники. Я читаю подружке свой стишок про ненавистную всему классу учительницу рукоделия. Я только вчера его сочинила, и мне не терпелось поделиться:

Гром гремит, земля трясется,
Видно, Поленька несется
На высоких каблуках,
С рукоделием в руках.
Вызывает ученицу,
Ставит сразу единицу.
Единица не плоха,
Ученица – ха, ха, ха.

Наташа смеется. “Перепиши мне. Я сестре прочту”, – просит она. Я переписываю стихи, а она стоит за моей спиной, жуя пряник.

На следующий день в нашем классе – пионерский сбор. Я только недавно вступила в пионеры, и меня недавно выбрали звеньевой. Я была счастлива и то и дело гладила новенькую нашивку на рукаве формы. В середине сбора моя подружка Наташа, староста класса, подняла руку, аккуратно поставив

локоть на парту.

– Что, Наташа? – обратилась к ней учительница.

– Миллер стишок написала про Полину Николаевну.

Пусть прочтет.

– Прочти, – обратилась ко мне учительница. Я молча глядела на Наташу.

Наташа смотрела прямо перед собой. Потом поднялась, вынула из кармана аккуратно свернутый листочек, который я накануне ей вручила, и сказала: “Если она не хочет, прочту я”.

Когда она прочла, девочки захихикали, да и учительница с трудом сдерживала улыбку. Наташа обвела всех спокойным взглядом. “Я думаю, всем ясно, – произнесла она, – что после этого Миллер не может оставаться звеньевой”.

Класс притих. Учительница в растерянности переводила взгляд с меня на Наташу. Наташа села и, порывшись в портфеле, достала пенал. Открыв пенал, она извлекла из него бритву и направилась к моей парте.

– Встань, – обратилась она ко мне, – надо срезать нашивку.

– Оставь, Наташа, она сделает это дома, – произнесла наконец учительница. Наташа вернулась на свое место, убрала бритву в пенал, пенал в портфель, опустила крышку парты и положила на парту локти. Сбор продолжался.

Мое лицо горело. Во рту было сухо. Я никак не могла осознать случившееся и найти этому определение. Простое сло-

во “предательство” пришло не сразу.

Но жизнь продолжалась: дом, каникулы, школа. Вот выбегаю из школы, из темноты, из духоты на мартовский свет. Голове жарко. Снимаю теплую шапку и несу ее в руке. Течет с карнизов. Подставляю под струю макушку, ладонь, воротник, шапку. Ворсинки на шапке слипаются, и я приглаживаю их то в одну сторону, то в другую, то в разные. Мою под струей галоши и портфель. Портфель блестит, а брызги летят мне в глаза. Струя, падая на ладонь, на асфальт, на мех, звучит то звонко, то глухо. Дома оказывается, что намокли учебники и расплылись чернила в тетрадах. Раскладываю учебники на батарее и завожу новую тетрадь. Гладкая разлинованная страница пугает своей чистотой. Приникшая к ней промокашка вызывает трепет. Я снимаю промокашку и кладу ее под левый локоть. Трогаю кончик пера, чтобы убедиться, что он чистый и целый. Потом обмакиваю перо в чернила и вывожу первые слова на чистой странице: “Двадцатое марта”. Даю себе клятву писать без единой пометки, и рука дрожит от волнения.

Такой свет за окном! Заметно каждое пятнышко на окошке. Отчетливо виден слой пыли на чернильном приборе, в центре которого белая сова – ночник с зелеными глазами. Правда, глаза у нее сейчас тусклые и пыльные. Я обтираю их пальцем. Палец становится серым. Потом обтираю пальцем сову и весь мраморный чернильный прибор. Провожу пальцем по клеенке на письменном столе, а потом иду к пианино.

Вот где можно разгуляться! Вожу пальцем по подсвечнику, а потом размашисто пишу на черной крышке пианино: “Двадцатое марта”. Поднимаю крышку и пишу с внутренней стороны. Пылинки пляшут в столбике света.

Я подкладываю под себя клавир “Евгения Онегина”, чтобы удобней было сидеть, начинаю заниматься музыкой. Подолбив надоевший этюд, поиграв его отдельно левой, отдельно правой рукой, начинаю просто перебирать клавиши. Потом достаю из-под себя клавир. Наигрываю первые такты, листаю дальше, останавливаюсь и, тыча пальцем в ноты, напеваю: “Слыхали ль вы за рощей глас ночной певца любви, певца своей печали...”

Мне нравится рыться в нотах. Ставлю перед собой какие-то рассыпающиеся странички. Они не стоят, обмякают и валятся мне в руки. Я придерживаю их левой рукой, а правой шарю по клавиатуре. На нотах карандашом написаны пальцы, обведена лига, что-то перечеркнуто. Кто-то уже бился над всем этим, путал пальцы, рвал лигу. Нотные странички на ладан дышат, а музыке как с гуся вода. Так чудно находить нужные клавиши, нажимать и вдруг обнаруживать, как звуки, сцепляясь друг с другом, рождают нечто, от чего дух захватывает. Тайные речи этих созвучий еще темны для меня, но трогают и томят. Тайна. Тайна. Преддверие. Будто, прильнув, гляжу в чьи-то окна, и мне оттуда машут, улыбаются, зовут. Но вхожу и снова оказываюсь снаружи, снова ряды окон, к которым приникаю.

И снова машут, зовут. Захожу – и снова снаружи.

Кружу, кружу вокруг да около. Пытаюсь проникнуть внутрь, но не проникаю. Нажимаю клавиши. Они отвечают мне, но ответ уклончив.

Нарушаю белизну чистой страницы, но все сводится к упражнению на твердый и мягкий знак.

Иду сквозь звенящий, болтливый, весенний день. День болтлив, но сокровенного не выбалтывает.

И дома хранят тайну.

Вот старый одноэтажный дом, в котором живет моя учительница музыки. В одном из окон открыта форточка, и оттуда доносятся звуки музыки: медленная сбивчивая игра. Подхожу к окну и, загородившись от света, вглядываюсь в полумрак комнаты. Слышу голос моей учительницы: “Раз-и, два-и”. Вижу темный рояль. Стучу в окно, как было условлено. Не слышат. Стучу громче. Учительница кричит кому-то, и маленькая фигурка бежит отпирать. Спешу во двор, оттуда вход в дом. Вход с крыльцом и металлическим узорчатым навесом.

Крыльцо увито каким-то вьющимся растением: голые прутья обвивают металлический узор. Толстые стволы старых деревьев загораживают окна, будто находятся в сговоре с этим домом.

Но и проникая внутрь этих домов, я не постигаю их загадочной жизни.

Вот мы в гостях у старой больной музыкантши, к которой

наша учительница привела нас на прослушивание.

В тесном коридоре царит высоченное тусклое зеркало в витой раме. Мы оставляем шапки и варежки на подзеркальном столике и входим в полутемную комнату, всю середину которой занимает рояль. В комнате пахнет старыми книгами и лекарством. В кресле сидит старуха в длинной юбке и валенках. Она не может передвигаться из-за болезни ног. Рядом с ней круглый стол с лекарствами, книжками и баночкой монпансье.

Мы играем, и старуха слушает нас напряженно и внимательно. Потом неожиданно звучным голосом делает замечания, просит сыграть снова и принимается энергично отбивать такт худой веснушчатой рукой.

Пока играют другие, я смотрю на картины, развешанные по стенам и гадаю, что за люди и улицы изображены на них. Вон молодая красавица на портрете – вдруг это та старуха, которая слушает нас сейчас. А что там за скалы и море на дальней картине в углу комнаты?

Все загадочно. И ступеньки при входе в дом, и полутемная комната, и крыльцо, увитое ползучим растением, и больная старуха с сильным голосом, и весеннее таяние, и слепящее солнце, и пылинки в солнечном луче – что со всем этим делать?

“Этот сладостный недуг, это вечное стремление – обладать лучом и тенью и принять в ладони звук...”

Я прикасаюсь ко всему, но не могу постичь, не могу кос-

нуться сердцевины, не могу разгадать загадку, которую вроде бы никто не загадывал мне.

Старый книжный шкаф моего детства. В нем множество книг. Некоторые без обложек. Листаю страницы, нюхаю их, гляжу на пометки, читаю и проваливаюсь в неведомый мир. Меня морочат непонятные страсти и судьбы. Читаю до рези в глазах, а потом, очнувшись, с трудом стряхиваю с себя чужую жизнь.

Две книжных полки шкафа отведены маленьким стихотворным томикам. Открываю их наугад. Выбираю что покороче и читаю, шевеля губами: “Все отнял у меня казнящий Бог...”

Отнял. Казнящий. Жутко. Но какие загадочные слова. Они не пугают, а завораживают.

...Открываю толстую тетрадь, беру карандаш и ластик. Долго грызу карандаш, ковыряю ластик, тычу в него грифелем, и какие-то смутные чувства переполняют меня. Наконец, решившись, пишу первые слова: “В доме на Песчаной справляли новоселье...” Пишу долго, увлеченно, боясь кончить и мечтая о конце. Пишу простенький рассказ об одной семье. Там семейные ссоры, дни рождения, плохие отметки, примирение и счастливый конец. Кончив, испытываю чувство облегчения. Пробегаю глазами по строчкам. То ли я хотела написать, сама не знаю. Но зато как чисто написано — ни одного зачеркивания.

Все, что не нравилось, я стирала ластиком. Приятно за-

жать в ладонях всю толщу исписанных страниц: во сколько написала!

Но главное еще впереди: я понесу этот рассказ в самый заветный дом моего детства. Там живут друзья моего отца, оставшиеся нам с мамой “по наследству” еще с довоенных времен.

Я всегда вижу этот дом зимой: заваленный снегом переулочек, погребенные под снегом деревянные домики. Длинная дощатая лестница, у подножья которой веник. Мы с мамой сметаем снег с обуви и идем наверх. Толкаем одну из дверей и попадаем в игрушечную переднюю, где на плитке жарится яичница с ломтиками черного хлеба. Эта передняя отделена от остальной части комнаты длинными шторами. Раздвигаем шторы и входим в комнату, посреди которой деревянный столб, выросший в пол и потолок. Кажется, что лишь усилием этого столба заставили крышу дома приподняться и выделить место двум пожилым людям. И они так обрадовались обретенному пространству, что бросились холить и нежить каждый его сантиметр: набили полочек, расставили книги, развесили картины, поставили у стены пианино. Верх столба разрисовали замысловатым узором, а пониже набили полки для книг.

В этой комнате работают: пишут книжки про писателей и музыкантов. Я люблю хозяев этой комнаты. Люблю читать здесь свои рассказы. Мне нравится, как тетя Лиза всхлипывает от умиления, едва я начинаю читать, а дядя Леша ти-

хонько побрякивает и барабанит пальцами по столу. “Ну-с, – говорит он, когда я заканчиваю, – молодец, Ларка. Шпарь дальше”.

Тетя Лиза обнимает мою голову и прижимает к груди.

Потом начинается то, что я люблю больше всего.

Мы с дядей Лешей забираемся в самый угол дивана. Я сажусь к нему на колени, и мы принимаемся сочинять сюжеты. Он начинает, я продолжаю. И наоборот. Он выдумывает невероятное и обрывает свой рассказ в самом интересном месте. “Ну-с, продолжай”, – говорит он мне.

А потом рядом с нами ставят низенький столик, и мы пьем чай.

На прощанье я обнимаю дядю Лешу за шею и говорю:

“Я вас люблю блаженски”.

А потом того дома не стало. Не стало и тех людей. И не тогда их не стало, когда они умерли, а гораздо раньше, когда они напечатали все свои труды и переселились в шикарную квартиру, став ее важными и чопорными хозяевами.

Но заветный дом жив. Я поднимаюсь по несуществующим ступенькам давно снесенного дома и прошу тетю Лизу: “Сыграйте, пожалуйста, вальс Грибоедова”. А потом дядя Леша снимает с пюпитра старинные ноты, на которых написано “Грибоедов. Два вальса”, делает на них надпись почерком Грибоедова: “Моей любимице на добрую память”.

...И снова март. И глаза ломит от света, и птицы поют. Я хожу с сыном по улицам своего детства. Вот и переулок, куда

бегала на уроки музыки. В какое окно стучала? В это? Нет, кажется, в то. Как теперь определить? Окна наглухо забиты железными щитами и двери тоже. Видно, дом готовят к сносу. Заколоченные окна – укор мне. Я так и не разгадала их тайны. Но помню дыхание и запах этого дома, и как западали клавиши рояля моей учительницы, и как она трясла мою кисть и требовала: “Свободней руку, свободней”.

“Свободней руку”, – говорит молоденькая учительница музыки моему сыну. И он карабкается по тем же нотам, по каким когда-то карабкалась я. Срывается и карабкается снова.

* * *

Я малолетка. Я в Клину.
Я у Чайковского в плену.
Я тереблю промокший, мятый
Платочек. Плачу я над Пятой
Симфонией. Пластинку нам
Поставили. За дверью гам.
В музеелюдно. День воскресный.
А музыка с горы отвесной
Столкнула, снова вознесла.
Я плакала. Душа росла.

Анна Васильевна с Олимпа

В пятом классе мы начали изучать мифы Древней Греции. Храмы, битвы, боги, чьи имена я запоминала с необыкновенной легкостью, меня завораживали. Единственную трудность представляла хронология: XII в. до н. э., V в. до н. э. Я до рези в глазах вглядывалась в эти цифры, буквы, точки, но усвоить их не могла. Что значит ДО НАШЕЙ ЭРЫ? Я и нашу эру с трудом себе представляла. Воображение отказывалось мне помочь. Написали бы просто – ОЧЕНЬ ДАВНО. Разве этого недостаточно? Но и датам не удалось отбить у меня любовь к древнегреческим мифам. Тем более что преподавала их Анна Васильевна. Когда она – высокая, статная, с огромным пучком пепельных волос на затылке – впервые вошла в наш класс своей величественной походкой, мне показалось, что она спустилась с Олимпа. Что такое Олимп, я уже знала – сперва от мамы, а позже от Жени, который короткое время был маминым мужем. Кандидат философских наук, он очень красочно и бурно рассказывал мне про войну титанов и богов, про огненную колесницу Фэтона, про веселого козлоногого Пана и его несчастную любовь к нимфе. Анна Васильевна говорила о том же, но совсем иначе – негромко, медленно, спокойно, как и следовало жительнице Олимпа. Когда она в своем неизменном длинном темно-вишневом платье и большой белой шали бесшумно двигалась между рядами и,

не прерывая повествования, подходила к доске, чтоб записать имя очередного бога или героя, все глаза были устремлены на нее. Кронос, глотавший своих детей, Зевс, низвергнувший Кроноса, Гера, верховная богиня и жена Зевса, – обо всех она говорила так, что сомнений не оставалось: она была там. Но кем она там была – в том непредставимом веке до нашей эры? Герой? Вряд ли. Уж больно Гера мстительна и ревнива. В конце концов я придумала ей роль таинственной безымянной пришельцы с Олимпа, стоявшей выше всех верховных богов и безучастной к их играм, страстям и битвам. Единственное, что не соответствовало ее величественному облику, – это неожиданно приветливая и ласковая улыбка, которую каждый мечтал заслужить. Все свое домашнее время я тратила на историю, а на уроке изо всех сил тянула руку (чего делать не полагалось) или старалась перехватить взгляд учительницы.

Но однажды Анна Васильевна не пришла. Нам сказали, что она заболела, и заменили историю физкультурой. Не пришла она и на следующий урок, и через урок. Жизнь потеряла краски. Вызав каким-то образом ее адрес, я отправилась к ней домой. Как я на это решилась, сама не знаю. Держа в руках бумажку с адресом, я отыскивала нужный переулок (благо он оказался неподалеку), вошла во двор и, увидев там тетеньку, развешивающую на веревке белье, показала свою бумажку. Она молча кивнула в сторону деревянного флигеля, но, едва я стала подниматься по ступенькам, крикнула:

“Вниз!” Неужели в подвал? На лестнице пахло кошачьей мочой, а в кухне – жареным луком. “Где тут Анна Васильевна?” – спросила я у тени, скользнувшей по темному коридору. “Сюда, пожалуйста”, – юным голосом ответила тень и повела меня за собой. Скоро мы оказались в узкой комнате, где царил полумрак. На кровати лежала женщина с разметанными по подушке волосами. “Кто пришел, Аня?”, – услышала я слабый голос Анны Васильевны. Я назвалась. “А-а-а, очень рада, проходи, садись. Яблоко хочешь? Анечка! Принеси яблоко”. Девушка метнулась к буфету. “Это моя дочь Анечка. А я вот слегла с пневмонией”. “С чем?” – спросила я, радуясь непонятному слову как возможности поддержать беседу. “С пневмонией, с воспалением легких”. – “А вы скоро придете?” – “Как только встану на ноги. А ты пока читай. Хочешь, дам тебе книжку про Троянскую войну?” “Спасибо, не надо, – зачем-то отказалась я. – У нас дома много книг про Древний мир. Мамин муж – философ. Он все знает”. – “А-а-а, ну тогда другое дело”. Анна Васильевна поглядела на дочь и улыбнулась. Видя, как ей трудно говорить, я стала прощаться. Анечка сунула мне в руку яблоко и повела по коридору.

“У мамы глаза болят, поэтому мы в комнате света не зажигаем”, – сказала она на прощанье.

Поднявшись все по той же вонючей и шатучей лестнице, я оказалась на свету. Домой шла медленно, припоминая все случившееся. Что, собственно, меня так поразило? Убогое

жилище? Да мы все жили примерно одинаково: в коммуналах, среди чада и смрада, с мышами и крысами. Но Анна Васильевна – величественная гордая обитательница Олимпа, самая верховная богиня. Могла ли я подумать, что и она живет в подвальной конуре?

Могла ли я представить, что именно оттуда она каждый раз приходила к нам, чтоб рассказать о подвигах Геракла, о Зевсе, Гере, Гебе...

Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила, —

читала она на уроке своим глубоким грудным голосом. Не в силах расстаться с мыслью об эллинском происхождении Анны Васильевны, я решила сделать ее Персефеной, живущей в царстве Аида, или по крайней мере Деметрой, спустившейся в Тартар, чтоб навестить дочь. Но, как я ни пыталась приучить себя к этой новой версии, ничего не получалось: грязный двор, сырой подвал, вонючий коридор, полутемное жилище никак не вязались со звучными греческими именами.

В конце четверти открылась дверь и вошла Анна Васильевна – спокойная, статная, все в том же темно-вишневом платье, с белой шалью на плечах. Она улыбнулась нам своей удивительной улыбкой и сказала, что мы начнем новую тему.

И вновь замелькали имена: Приам, Парис, Гекуба.

* * *

Ах, как ребенку взрослые мешают:
То спать велят, то сладкого лишают:
Мол, брось жевать – испортишь аппетит
И зубкам вред. А время-то летит.
Ах, бывшее дитя, кому есть дело
Сегодня до того, что ты надело,
Как выпалось, что ело на обед?
Ты счастливо, что взрослых больше нет?

Глава 2

И всем, чем дышалось

Мама

Старинные часы на гардеробе. Те самые, из моего детства: склоненная над книгой бронзовая женщина, тонкая рука, подпирающая щеку. Все то же. Только циферблат без стрелок. Часы сломаны. Они стоят в квартире моей мамы, которая недавно умерла. Совсем недавно. Еще живет в комнатах ее запах. В прихожей стоят тапки, хранящие форму ее ступни с подагрической косточкой. Возле зеркала – золотистое колечко ее волос и расческа, которой она провела по волосам, уезжая в больницу. Рядом обручальное кольцо и часы, что так беспомощно болтались последнее время на ее исхудавшей, посиневшей от уколов руке. Тупо брожу по квартире. Со дня маминой смерти прошла всего неделя. В прошлую субботу папин голос из больницы. Слабый, дрожащий голос. Едва его услышав, я все поняла. Нет! Нет! Нет!

Да! От такой болезни не спасают, и не на что было надеяться. Но слаб человек, и малейшее улучшение рождает надежду. А улучшение было, и маму выписывали из больницы домой то на неделю, то на две. И мы сидели в ее уютной кух-

не и пили кофе, а по вечерам звонили друг другу по телефону. “Ну как ребятки? – спрашивала меня мама. – Так поздно не спят?..”

Я еще не жила в этом мире без мамы. Жила с ней, подле нее, отдаляясь, приближаясь, терзаясь несхожестью душ, тоскуя по детству, когда ни с кем не было так хорошо и празднично, как с ней. Делаю первые шаги в мире, где ее нет. Она приходит только ночью, садится возле меня, и мы вместе смотрим старые снимки. “А это помнишь когда было?” – “Помню. После ноябрьской демонстрации. Малый Каменный мост”. – “Сколько тебе тут лет, девочка?” – “Девять, наверное”. Поднимаю голову, а ее уже нет.

Бегу, зову и просыпаюсь.

Суббота, еще суббота. Уже две недели со дня маминой смерти. Мы с сыном снова на Кутузовском проспекте в маминой квартире. Приехали навестить моего отчима. Сидим на кухне. Едим сваренный к нашему приходу обед. Папа старательно и серьезно нас кормит. Папа. Тридцать лет назад меня заставили называть этого человека “папа”. А теперь я держусь за драгоценное слово как за соломинку. Мы с ним держимся друг друга. Мы звоним друг другу, и он задает мне мамины вопросы: “Ну как ребятки? Еще не спят? Я купил тебе сыр и баночку меда. И рижский хлеб, который любит Павлик. Может, заедешь в конце недели?” Мы сидим на кухне, а рядом на полу рулоны обоев, которые папа снял с антресолей. “Возьми их себе, деточка, – говорит он. – Мы со-

бирались в июне делать ремонт. Возьми их. Тебе пригодятся. Мы за ними долго стояли. Разбери фотографии, книги, ноты. Возьми что тебе нужно”.

Разбираю книги. На многих дарственные надписи писателей, художников, актеров – всех тех, с кем мама встречалась, у кого брала интервью, работая в журнале “Красноармеец” в военные и первые послевоенные годы: “На память Изабелле о первых наших встречах. Вас. Качалов, 1944 г.”; “Белле Румер (мамина девичья фамилия) с любовью. Мих. Жаров, 1945 г.”. Вот тоненький “Василий Теркин”, “карманная” книжечка, выпущенная издательством “Молодая гвардия” в 1942 году. На титульном листе – надпись: “Изабелле Вениаминовне, замученной редакционными невзгодами, – с пожеланием всего лучшего. А. Твардовский. 14.7.1943”.

Вот сборник стихов Степана Щипачева с посвящением: “Милой Белочке. Пусть эта книга когда-нибудь и потом напомним об этих днях, о нашей редакции и об авторе этого творения. Ст. Щипачев. 26.5.44”.

Миниатюрная рассыпающаяся книжка Анны Ахматовой, изданная в 1921 году. На титульном листе под строгим названием ANNO MCM XXI надпись: “И. В. Румер на память о встрече – Ахматова 22 апреля 1946 г. Москва”.

Скромное военное издание “Железного потока” с посвящением, сделанным старческим неровным почерком:

“Т-щу Румер Изабелле Вениаминовне, прекрасному редактору, перед настойчивостью ее никто не устоит. На па-

мать А. Серафимович. Москва 10.12.44”.

Английские народные баллады: “Дорогому “Красноармейцу” Изабелле от всей души”. С. Маршак 1942 г.”.

Журнал “Красноармеец”, в котором мама работала до 1946 года, – это огромный дом с колоннами, который все называли ЦДКА. Это большая круглая площадь Коммуны. Это газетный киоск возле троллейбусной остановки, где почему-то иногда продавали кукольную посуду, непреходящую мечту моего детства. Непреходящую не потому, что мечта не воплощалась, а потому, что маленькие алюминиевые вилки легко гнулись, ложки легко ломались, тарелки легко терялись. Все приходило в негодность, еще не успев надоесть, и я снова тянула маму к газетному ларьку. Она покупала мне новый набор, и мы шли к маме на работу, где я проводила целый день, когда меня некуда было деть и не с кем было оставить. Я доставала из маминой сумки целлулоидного голыша, строила для него дом из толстых подшивок журнала “Красноармеец” в красном кожаном переплете и кормила его из новой посуды.

Журнал “Красноармеец” – это черный кожаный диван, на котором маме иногда удавалось уложить меня днем поспать. Журнал “Красноармеец” – это мамин начальник Виктор Васильевич, болезненный, тихий, в гимнастерке и валенках. Виктор Васильевич и его вечная шутка: “Ну что, черноглазая, опять глаза не промыла?”

Журнал “Красноармеец” – это макет Сталинградской бит-

вы на первом этаже. Объемный макет в человеческий рост, куда мне однажды разрешили войти. Скинув тапки, я шагнула за барьер, внутрь макета, и оказалась среди огня и дыма. Боязливо оглянулась и увидела у самых своих ног окровавленного солдата с гранатой в руке. Не помня себя от страха, я торопливо, боясь что-нибудь нарушить, засемила прочь, к маме. “Красноармеец” – это странные таинственные разговоры о самоубийстве секретарши Леночки, которая повесилась в приемной своего начальника. Это страшная новость о том, что начальника посадили. Начальник этот был главнее Виктора Васильевича. Я всегда думала, что он начальник всего дома с колоннами и даже всей круглой площади. Звали его Василий Иванович. Его кабинет находился возле макета Сталинградской битвы. Большой кабинет и большая приемная. Но мы с мамой никогда не ждали в приемной. Мама весело открывала массивную черную дверь и, пропустив меня вперед, входила следом. А Василий Иванович вставал нам навстречу, широко улыбался, брал мамину тонкую руку в обе свои и усаживал маму в кресло. Я любила ходить к нему, особенно накануне Нового года, потому что тогда уж я непременно получала новенький, пахнущий типографской краской пригласительный билет на елку. Пригласительный билет с профилем Сталина и кремлевской башней на обложке. И вдруг Василий Иванович исчез. Мы с мамой больше никогда не подходили к его кабинету на первом этаже. Много лет спустя, придя домой из школы, я увидела за столом

очень худого, лысоватого человека с ввалившимися щеками. Он встал мне навстречу и улыбнулся. Господи, да это же Василий Иванович. Неужели он? После его ухода я засыпала маму вопросами, припомнив загадочные рассказы о Леночке. Мама нехотя и скупо объяснила, что Леночку несколько раз вызывали в какое-то важное учреждение и расспрашивали о начальнике. Она возвращалась на работу измученная и в слезах. Когда начальника арестовали, она повесилась.

Маму уволили из “Красноармейца” вскоре после ареста Василия Ивановича. Что такое “уволители”, я плохо понимала. Но помню, как мама вернулась с работы непривычно рано и позвонила Верке, своей давней подруге: “Ты знаешь, я вышла на улицу, перекинула пальто через руку, поглядела вокруг, и мне захотелось кричать”. Я с опаской смотрела на маму, которая почти не говорила со мной.

Как же так? Как же можно, чтоб маму выгнали из дома с колоннами, из нашего “Красноармейца” одну на улицу?

“Ты знаешь, говоря по-эзоповски, на этот дом надо бомбу сбросить”, – сказала я маме. Я помнила, что есть некий “эзоповский” язык, которым иногда пользовалась мама, разговаривая в моем присутствии с кем-нибудь из взрослых, и решила, что пришло мое время говорить на этом языке.

Много лет спустя, не помню почему, мы с мамой приехали в ЦДКА, и пожилая гардеробщица, увидев маму, всплеснула руками: “Белочка, да ты ли это?” Они расцеловались, поговорили. А когда мама отошла, гардеробщица сказала мне:

“Какая она красавица была. Многие по ней вздыхали. Она и сейчас хорошая, но в те-то годы...”

Снимки, снимки, снимки. Вот мама молоденькая в гимнастерке, вот она в ушанке и шинели. Вот ее пропуск на беспрепятственный проход по Москве во время воздушной тревоги. Вот она с папой перед его уходом на фронт. Это их последняя фотография. Они улыбаются друг другу. На папе военная форма. На маме шерстяная кофточка, которую я помню до мельчайших подробностей: коричневая, с бежевым воротником и бежевыми манжетами. Кофта была длинная, уютная, и мама любила носить ее в морозы. Я даже помню ее на ощупь, потому что часто, уставая, тянула маму за бежевый манжет и ныла: “Пойдем домой”.

Мама часто таскала меня с собой. Иногда потому, что не знала, куда меня деть. Иногда просто так, “для веселья”.

Меня так и прозвали – “Белкин хвост”.

Куда и к кому только не ездила мама, спецкор “Красноармейца”, самого популярного и читаемого в те годы журнала: к Калинин, Вышинскому, Туполеву, Ал. Толстому, Эренбургу, Гр. Александрову, Л. Орловой, Целиковской, Руслановой, Мих. Жарову. Мы ездили к Папанину на дачу, где я впервые в жизни каталась на машине, большой, черной, неуклюжей. Мы ехали по ухабистой, грязной проселочной дороге. Папанин сидел за рулем, а мы с мамой подпрыгивали на заднем сиденье. Когда мы особенно высоко подпрыгнули, Папанин обернулся и весело спросил меня: “Ну, что,

мартышка, совсем жопку отбила?” Черная машина и слово “жопка”, произнесенное знаменитым дядей, были самыми сильными впечатлениями этой поездки. Папанина я помню смутно, но хорошо помню, что он пригласил нас остаться на обед, который уже подавали в просторной столовой. Помню, что удивительно вкусно пахло едой и что мне очень хотелось есть. Помню свою досаду на маму, которая неизвестно почему отказалась остаться и увела меня, голодную, домой, накормив по дороге бутербродами. Помню смуглый мамин кулачок, которым она наподдала мне на улице за то, что я слишком настойчиво и громко требовала, чтоб мы остались обедать.

Обычно я вела себя тихо, но иногда подавала голос, и не всегда удачно. “Ваша фамилия Толстой, потому что вы толстый?” – спросила я большого, грузного Ал. Толстого. Толстой без улыбки посмотрел на меня и молча протянул мне конфету, а маме – сложенные трубочкой страницы, написанные для “Красноармейца”. Однако голос, поданный мною в проходной Кремля, помог мне пройти к Ворошилову вместе с мамой. Охранники сами догнали маму и попросили взять с собой громко плачущего ребенка. Так я оказалась в кабинете Ворошилова. “Товарищ Ворошилов! Когда я подрасту, я встану вместо папи с винтовкой на посту!” – декламировала я, стоя на столе в кабинете Ворошилова. Я говорила “папи” с гордостью, так как знала от домашних, что папа мой погиб на фронте. Однажды поздно вечером я слышала сквозь сон,

как мама рассказывала бабушке, что кто-то вошел в редакцию и сказал: “Белла, иди скорей. Тебя какой-то мужчина ждет внизу. Сказал – позовите Беллу. Скажите, что ее ждет Миллер”. Представь, хочу бежать вниз, а ноги не идут”, – говорила мама. “Спускаюсь по лестнице, а ноги ватные. Понимаю, что бред, что Миши нет в живых, что это не Миша, а брат его, а все-таки думаю – а вдруг, а вдруг. Спускаюсь вниз, а там Аркадий.

Я так и упала на стул возле него без сил”.

С той поры и во мне поселилось это “вдруг”. А вдруг папа жив и я его случайно встречу где-нибудь в толпе, на улице, в транспорте. Я стала сочинять бесконечные истории о нашей случайной встрече.

...“Ларка, иди скорей. К вам Сталин приехал”, – кричали мне ребята с нашего двора. Бегу к дому. У подъезда машина. В подъезд входит высокий, прямой, моложавый старик в генеральской форме – Игнатъев, автор книги “Пятьдесят лет в строю”. Личная машина (редкость по тем временам), генеральская форма, военная выправка, высокий рост – конечно же Сталин. Про нашу маму всегда ходили легенды: к ней ездил Сталин, а сама она актриса – яркая, рыжая, курит, на рояле играет. “Умнице и чаровнице Белочке от молодого душой ее поклонника”, – размашистым почерком надписал Игнатъев свою книгу, подаренную маме.

Я любила ходить с мамой к Маршаку и к Агнии Барто, потому что там мне давали посмотреть грудку красивых детских

книжек. Некоторые из них были совсем новые и вкусно пахли краской. Я их не столько читала, сколько нюхала. Однажды Агния Барто позвонила нам на Полянку и продиктовала маме свое новое стихотворение, которое начиналось словами: “У меня родился брат...” Стихотворение называлось “Имя”, и было оно о том, как брата назвали Иосифом в честь вождя. Я выучила стихи наизусть и очень выразительно прочла их на школьном утреннике, посвященном дню рождения Сталина. Барто жила в Лаврушинском переулке, по соседству с нами, и мы с мамой ходили к ней пешком тихими замоскворецкими переулками.

Мы ходили пешком в Дом правительства – большой серый дом, расположенный между Большим и Малым Каменными мостами. Шли по Большой Полянке через мост мимо кинотеатра “Ударник” в ворота. В этом доме жил Александр Серафимович Серафимович, с которым за годы работы в “Красноармейце” подружилась мама... Это был очень старый человек с рыжими веснушками на руках. Он всегда ходил в валенках, а дома возле ног его всегда лежала большая строгая собака, из-за которой я боялась быстро ходить и громко говорить. В кабинете Серафимовича были двери с матовыми стеклами. Мне нравилось, упершись лбом в стекло, пытаться разглядеть, что там делается за дверьми. Александр Серафимович что-то говорил мне слабым старческим голосом. Бодрая моложавая жена его Фекла Родионовна поила нас чаем с чем-нибудь вкусным. А потом мы с мамой

брали узелок с чистым бельем и шли в ванную комнату купаться. В ванной комнате нашей коммунальной квартиры на Полянке лежал хлам и бегали крысы. А здесь все сверкало, аппетитно гудела колонка. Мама терла мне спину и приговаривала: “Одни косточки – настоящий Кащей Бессмертный”. А потом смывала с меня мыло со словами: “С Ларочки вода, с Ларочки худоба, чтоб здоровенькой была, чтоб маму любила”.

На прощанье Александр Серафимович дарил мне мои любимые коробочки из-под папирос. И самой любимой была коробочка с изображением цыган на крышке: пестрые фигурки поющих цыган, а впереди один из них в ослепительно-белой сорочке с гармошкой.

Однажды мама водила меня в цыганский театр “Ромэн” на пьесу, которая называлась, кажется, “Чудесная башмачница”. Я все ждала, что увижу нарядных цыган с папиросной коробки, а увидела старого башмачника, которого обижала молодая цыганка, его жена, и даже швыряла в него обувные колодки. Я плакала, жалела старика. А на следующий день мама привезла меня в какой-то дом и уже у самой двери сказала: “Мы пришли в гости к Ляле Черной, которая вчера играла жену башмачника”. “Как?! К той грубиянке, которая обижала старика? Нет, нет, ни за что. Я ее ненавижу”, – кричала я, вырываясь из маминых рук. Мама крепко держала меня и испуганно шептала: “Ларочка, золотце, подожди, не кричи. Это хорошая тетя. Она просто играла такую роль”.

На шум вышла миловидная женщина в длинном нарядном халате. “Что случилось?” – обеспокоенно спросила она, видя, как я молча, но иступленно вырываюсь, пытаюсь убежать. Растерянная и смущенная, мама рассказала ей, в чем дело. Женщина рассмеялась и принесла мне целую горсть конфет. Но я не сдалась. Тогда она присела возле меня на корточки и стала шептать мне на ушко, как она ненавидит эту башмачницу, как не любит ее играть и как ее заставляют. Я слушала и оттаивала. Женщина незаметно расстегнула мне пальто, взяла за руку, провела в комнату, усадила на диван и поставила рядом блюдо с конфетами, которые я сосредоточенно ела, пока они с мамой беседовали...

Давно исчезли маршруты моего детства, но у памяти свои законы, которые позволяют нам с мамой снова сесть в старый звонкий трамвай с кондуктором и проделать долгий зимний путь в Лефортово к маминому будущему мужу. Мы садимся у окна: я спереди, она сзади. Дышим на заиндевшее стекло, отогревая кружочек для смотрения. И мама, наклонившись к самому уху, принимается за наше обычное занятие: рассказывает, вернее играет, очередной спектакль. Сегодня это “Пигмалион”. Мама играет все роли, меняя голос, выражение лица и, как я поняла позже, подправляя на ходу оригинал, чтоб получилось трогательнее, интереснее и понятней. “Вот ваши туфли, и вот”, – в бешенстве кричит Элиза. “Элиза, вы дура”, – холодно и невозмутимо отвечает Хиггинс. По дороге обратно из Лефортова домой Элиза и Хиггинс мирят-

ся. Хеппи-энд. И мой нетерпеливый вопрос: “Что дальше?” Дальше “Школа злословия”, а потом в сотый раз мой любимый спектакль “Давным-давно”. “Пусть я зовусь юнцом безусым”, – поет мама. Я знала все реплики и песни и все же просила маму сыграть спектакль сначала до конца без пропусков и сокращений. Позже, увидев эти пьесы в театре, я ревниво и придирчиво следила за сюжетом и актерами. Мне казалось, что мама все делала лучше. Единственное, чего она не могла, – это изобразить постепенно гаснущую люстру и медленно раздвигающийся занавес. И за это волшебство я навеки полюбила театр. Когда я была маленькой, поездки с мамой были лакомством, праздником. Это потом мне стало в тягость всюду ездить с мамой, подчиняться ее воле, прерывая собственные занятия, бросая книги, друзей. А не поехать означало обидеть маму, увидеть, как она ушла, обиженно закусив нижнюю губу. Не поехать означало долго жить под гнетом ее обиды, под током высокого напряжения. Но в раннем детстве я была маминым хвостиком. А зимой и маминей грелкой вдобавок. Она сажала меня к себе на колени, и я грела ее пушистой белой шубой. Мы долго ехали с Большой Полянки мимо кинотеатра “Ударник”, мимо Дома правительства, мимо библиотеки Ленина. И, сидя у мамы на коленях, я громко по складам читала вывески: “Па-мир-ка-херская, бли-бли-о-те-ка”.

Несколько лет спустя я совершила свое первое самостоятельное путешествие по тому же маршруту от дома до Пуш-

кинской площади, где был расположен Радиокomiteт, куда удалось устроиться маме по ходатайству Эренбурга. Мама долго готовила меня к этому путешествию, водила на остановку, с которой мне предстояло уехать, объясняла, где сойти и на какой скамейке в сквере сидеть и ждать ее. Но настал великий день, я пошла на ту остановку, на которой привыкла встречать маму после работы, села в троллейбус и долго ехала в противоположном направлении. А заметив это, стала тихо плакать. Сердобольная женщина расспросила меня обо всем, взяла за руку, вывела из троллейбуса, перевела на другую сторону и посадила в нужный троллейбус. Я приехала к маме, но с большим опозданием. Она судорожно прижимала меня к себе, тормошила и плакала: “Ведь я тебе все объяснила, дрянцо ты это такое, шимпанзе беззубое. Золотце мое ненаглядное”.

...Мама, где ты? Куда ты делась? Как это может быть, что тебя нет?

“Девочка моя, золотце мое ненаглядное, – шепчешь ты, прижимая меня к себе, и тихо плачешь, отвернувшись от соседок по больничной палате. – Что тебе сказал врач?”

Что сказал врач? Врач сказал: “Ваша мать – умирающая больная. Ходите почаще”.

– Врач сказал, что проведут курс лечения, и тебе сразу станет легче, – говорю я вслух. – Только тебе надо набраться терпения. Лечение тяжелое. От него слабость и тошнота.

– Да, такая слабость, что голову поднять нет сил. И волосы

лезут страшно.

Ну ничего. Пусть лезут. Лишь бы мама у меня осталась.

“Тяжело дышать”, – говоришь ты. Серое лицо, бескров-
ные губы – ты ли это?

Ты – золотистые волосы, яркие глаза. Тебе так шли длин-
ные серьги, пестрые платья. Ты любила праздники, новогод-
нюю ночь, бенгальские огни, музыку, танцы. Ты любила в
новогоднюю ночь ездить из гостей в гости, неожиданно по-
являться в длинном вечернем платье с конфетти в волосах,
произносить шутливый тост, танцевать игривый танец и, ак-
компанируя себе на рояле, петь любимую песенку: “Нашел я
чудный кабачок, кабачок. Вино там стоит пяточок, пяточок”.

Ты была нарасхват. Все приходило в движение, когда ты
появлялась. “Белла, станцуем? Беллочка, твое здоровье!” –
неслось со всех сторон.

Взгляды, взгляды, взгляды. На тебя всегда смотрели в
транспорте, на улице, в театре. Была ли ты красивой? Не
знаю. Когда как. Ты часто была измученной, усталой.

“Расчешись. На кого ты похожа!” – просила тебя бабушка.
“Оставь, мама. У меня нет сил”. Ты часто рассказывала, как
во время очередной чистки на партсобрании в Радиокومي-
тете кто-то сказал: “Посмотрите, в каком виде коммунистка
Фаддеева приходит на работу. Почему она так взлохмачена?
Пора присмотреться к этой лохматости”. Ты и на радио рабо-
тала с утра до вечера, стуча на машинке, правя написанное,
отвечая на вопросы радиослушателей, приглашая кого-то на

запись. “Ну что вы, Белла, это совсем не туда пошло. Совсем не туда, – твердила на ломаном русском языке твоя начальница финка Сайми, возвращая тебе твою статью. – Надо сократить”.

“Невольный сын эфира”, – говорила ты о себе. Помню, что я всегда удивлялась, почему сын и откуда ты взяла эти слова.

Вот маленький снимок, на котором мы с тобой сфотографированы после ноябрьской демонстрации на Малом Каменном мосту. На обороте карандашом написано:

“1949”. Рядом с нами твоя начальница и еще кто-то. Я любила ходить с тобой на демонстрации. Пестрая, разноязыкая колонна иностранцев, поющих песни на разных языках. “Ларочка, – говорил мне влюбленный в тебя высокий, стройный швед Сикстен, – хочешь, я тебе куплю палька, такая длинна-длинна палька, две палька кататься зимой?”

Все пели, и мы с тобой пели: “С берез, неслышен, невесом, слетает желтый лист. Старинный вальс “Осенний сон” играет гармонист...” Вот они – ноты моего детства, пожелтевшие разрозненные листки. Песни времен войны, изданные на серой бумаге в 1945 году. “Смерть немецким оккупантам” – напечатано на обложке сверху. “Стеклография ЦДКА” – напечатано снизу. “Американская солдатская песня” – посередине той страницы, где про “чудный кабачок”.

Вот ноты, казавшиеся мне столь таинственными в детстве: на обложке, – белое лицо, похожее на маску, трагически сдвинутые темные брови, белое жабо. Сверху белыми буква-

ми на черном фоне: “Песни Вертинского”. “Ах, солнечным, солнечным маем, на пляже встречаясь тайком, с Лулу мы как дети играем, мы солнцем пьяны, как вином”, – поешь ты, сидя за нашим стареньким “Беккером”. Окно нараспашку. По комнате летает тополиный пух. За окном цветет сирень. Необычно теплый май. Твой день рождения. Комната полна гостей. От ветра качнулась занавеска. Нотный лист упал на твои смуглые худые пальцы. Кто-то подхватил его и поставил на пюпитр.

“Ну погоди, ну погоди, минуточка, ну погоди, мой мальчик пай. Ведь любовь наша только шуточка. Ее выдумал глупый май...”

Сегодня снова май. Скоро день твоего рождения. Всюду продают сирень – твои цветы.

Приходит Верочка-Верушка,
Чудная мамина подружка.
Она несет большой букет.
(Сегодня маме тридцать лет.)
Несет большой букет сирени,
А он подобен белой пене,
Такая пышная сирень.
Я с белым бантом набекрень
Бегу... Гори, гори, не гасни,
Тот миг... И розочку на масле
Пытаюсь сделать для гостей...
Из тех пределов нет вестей,

Из тех времен, где дед мой мудрый
Поет и сахарную пудру
Неспешно сыплет на пирог.
И сор цветочный на порог
Летит. И грудой белой пены
Сирень загородила стены.

Как я была богата. У меня были бабушка, дедушка. Сегодня есть отчим, которого я называю папой уже тридцать лет. Сегодня он больно ранен маминой смертью. Сегодня он одинок и растерян. Сегодня он спасается хлопотами по раздаче старых вещей. Сегодня он покупает продукты, волнуется за моих детей, занимается географией с моим старшим сыном и ждет нас в гости. Сегодня он единственный человек, которому я могу позвонить в черную минуту и сказать: “Папа, я не могу привыкнуть, что мамы нет, не могу смириться...”

“Ну что делать, деточка, – говорит он мне, плача. – Ну что делать? Я буду помогать тебе чем могу. Все сделаю, но я не могу вернуть тебе маму”. Живи долго, папа. Живи долго.

Май 1983 г.

* * *

А за окном твоей палаты
Случались дивные закаты,

Стояло дерево без кроны,
Летали галки и вороны.
Начало марта, хмарь, ненастье,
И ты мне говорила: “Счастье
Смотреть в окно на стаю эту”.
Вот счастье есть, а мамы нету.

* * *

Маме

Я не прощаюсь с тобой, не прощаюсь,
Я то и дело к тебе возвращаюсь
Утром и вечером, днем, среди ночи,
Выбрав дорогу, какая короче.
Я говорю тебе что-то про внуков,
Глажу твою исхудавшую руку.
Ты говоришь, что ждала и скучала...
Наш разговор без конца и начала.

* * *

О память – роскошь и мученье,
Мое исполни порученье:
Внезапный соверши набег
Туда, где прошлогодний снег
Еще идет; туда, где мама
Еще жива; где я упрямо
Не верю, что она умрет,
Где у ворот больничных лед
Еще лежит; где до капли,
До горя целых две недели.

* * *

Маме

Прости меня, что тает лед.
Прости меня, что солнце льет
На землю вешний свет, что птица
Поет. Прости, что время длится,
Что смех звучит, что вьется след
На той земле, где больше нет
Тебя. Что в середине мая
Все зацветет. Прости, родная.

Папа Миша

Года в четыре мне очень нравилось играть с фотографией, на которой я, годовалая, сижу на руках у отца. Нравилось мять эту карточку, разглаживать, рисовать на ней цветными карандашами. Фотографию отбирали, но я снова находила ее и мучила.

Дома мне говорили: “Папа Миша пошел на фронт добровольцем. У него было слабое зрение. Он погиб, подрывавшись на mine”. “Папа Миша тебя очень любил, – говорила бабушка. – Он держал тебя бережно, как хрустальную вазу. У него были длинные, тонкие, музыкальные пальцы”.

Когда я стала старше, то пожалела, что исчеркала фотографию, на которой папа держит меня своими “длинными, тонкими, музыкальными пальцами”. Я так долго рассматривала его руки на снимке, что мне начинало казаться, будто пальцы вздрагивают. Интересно было изучать его лицо, коротко стриженные волосы, очки, улыбку, себя в каком-то комбинезоне с пуговками, вазу, зеркало, ковер – весь далекий неведомый фон младенческой, довоенной жизни, в которой папа Миша держал меня как хрустальную вазу и придумывал мне всякие имена: Ларчик-самоварчик, Лариска-матриска, Ларчонок.

Что еще у нас осталось от той жизни? Вот карточка, где мама с папой на Черном море. Это – до меня. Мама в ши-

рокополой соломенной шляпе, смуглая, в полосатом купальнике. Папа худой, очкастый. Оба лежат у самого берега и смеются: волны, брызги, морская пена. На карточке застыли потеки и капли светло-зеленой масляной краски. Наверное, следы довоенного ремонта на Большой Полянке, где жила моя семья.

Я подолгу изучала все отцовские фото. Вот маленькое фото на удостоверении газеты “Тагильский рабочий” со штампом 1934 года.

Вот фотография, где он снят в военной форме. Отец сидит, а мама стоит рядом. Они смотрят друг на друга и улыбаются.

Когда я повзрослела, наши книжные шкафы на Полянке стали таинственным миром, в котором я пропадала часами. На форзаце многих книг было написано “М. Миллер”.

Эти книги казались мне загадочными, как и все связанное со странными, хотя и привычными словами “папа Миша”. Загадочными были “Илиада” и “Одиссея” – толстые, громадные тома с фантастическими картинками; маленькие сборники стихов со странными названиями “Белая стая”, “Зеленый Вертоград”, “Иверни”. Причудливые наименования издательств – ОГИЗ, ГОСЛИТ, ГРИФ, АЛКОНОСТ – только добавляли таинственности книгам. Вот том в темном переплете. На обложке – ни слова. На форзаце сверху – гирлянда роз с шипами, а ниже написано шрифтом с буквой ять: Александр Блок, “Земля в снегу”, и совсем внизу – “Третий

сборник стихов”, изд-во журнала “Золотое руно”. В середине страницы была стерта какая-то карандашная надпись. Я долго пыталась прочесть, что там было написано, и наконец разобрала: “Стихи на бумаге. Снегу больше, чем земли, а бумаги – чем стихов”. Кто сделал эту надпись и кто стер, я не знаю. Но надпись эта волновала меня в детстве едва ли не больше, чем сами стихи. Хотя и стихи я перечитывала по многу раз, особенно те, рядом с которыми были карандашные пометки: черточки, галочки, скобки. “Ты твердо знаешь, в книгах сказки, а в жизни только проза есть”, – читала я строки, отчеркнутые карандашом.

Однажды я увидела драгоценные книги, сложенные штабелями на полу: мама ждала букиниста, чтоб продать кое-что, готовясь к переезду с Полянки. Это было в 1952 году. Я в последний раз листала “Илиаду”, “Одиссею”, жутковатый альбом Босха, книгу, посвященную не помню какому юбилею Театра сатиры. Я любила ее за обложку, украшенную смеющимися лицами всей труппы. Несколько дней книги лежали на полу, и я присаживалась рядом с ними на корточки и листала, листала...

О папе мне мало рассказывали дома. Я знала, что он любил стихи, что был застенчив, худ и высок, носил очки, которые я пыталась сдернуть с него, когда он брал меня на руки. Он не позволял, и я громко кричала. Тогда, чтоб меня не расстраивать, он специально покупал дешевые чашки и, когда я пыталась сорвать с него очки, подсовывал мне чашку,

которую я разбивала вдребезги, визжа от восторга.

Как странно было читать свое имя в его письмах с фронта: “Вот разобьем фашистов, и я вернусь к Ларчонку”.

Одно время мне казалось, что папа жив, и я настойчиво вглядывалась в лица прохожих, надеясь увидеть его в толпе. Странно, что мне так не хватало его. Почти ни у кого из девочек нашего класса не было отца. Моя семья была даже больше, чем у многих: мама, бабушка, дедушка. Существовали папины сестры и брат, с которыми мы, правда, виделись редко. И все-таки я ждала отца, искала в толпе, сочиняла истории о нем. Мне не хватало его всегда – и особенно остро, когда случались ссоры в семье, когда маму уволили с работы, когда мы ходили с ней по улицам и читали объявления о найме, когда меня дразнили во дворе...

Я любила бывать в доме отца на Арбате, где после войны жили его родные, в длинном доме с круглой башней – бывшем доме Моссельпрома. Я и сейчас показываю детям этот дом, в котором уже давно не живет никто из моих родственников. “Смотрите, вон дом папы Миши”, – говорю я им. Отец мне никогда не снился в детстве и впервые приснился лет пять назад. Мне очень многое хотелось сказать ему, но губы не слушались, потому что нам было отпущено мало времени: он был ранен в висок. Из раны тонкой струйкой шла кровь. Кто-то хлопотал возле него, пытаясь остановить кровь, но кровь шла и шла, и становилось ясно, что рана смертельна. Он был бледен, но безмерно счастлив нашей

встрече. Он держал мою руку и спрашивал о чем-то слабым голосом. Я хотела ответить, но внезапно проснулась. Пробуждение было страшным, потому что не стало отца, которого я ждала всю жизнь, дождалась и снова потеряла, так и не успев ничего сказать ему. Этот сон долго не отпускал меня.

И вот, спустя тридцать шесть лет после смерти отца, в 1978 году я случайно встретила с человеком, который был с отцом на фронте и говорил с ним накануне его гибели. Это был Наум Мельман (Мельников), который до войны тоже учился в Литинституте. Он рассказал мне об отце то, чего я не знала. Он рассказал мне, что познакомился с отцом в Куйбышеве во время войны, что отец рвался на фронт, но его не брали из-за плохого зрения; что ему в конце концов в обход всех комиссий удалось попасть в армейскую газету, где работал Мельман. Отец был помощником ответственного секретаря и большую часть времени проводил в типографии. Работы было много. Когда же выпадала свободная минутка, он любил что-нибудь напевать себе под нос или читать вслух стихи. Стихов он знал великое множество и мог читать их часами. “Жил он стихами и музыкой, а точнее в стихах и музыке, а еще точнее – казалось, и стихи, и музыка писались для него одного”, – рассказывал мне Наум Дмитриевич.

И еще он жил мамой, которую любил безумно. Эта любовь стоила ему жизни. Однажды, узнав, что с фронта в Москву идет машина, отец и один из его друзей решили съездить в Москву, чтоб повидаться с родными. Командировки в

Москву были делом обычным для редакции. А в тот момент их отлучка могла пройти незамеченной, потому что в типографию попала бомба и газета временно не выходила. Отец, как человек безнадежно штатский, не видел в этой мальчишеской затее ничего страшного. Приехав в Москву, папа не сразу разыскал маму, которая, работая в журнале “Красноармеец”, часто ездила в командировки. Отец пробыл в Москве три или четыре дня. Из Москвы в Ядрин, где жили его родители и сестры, полетело счастливое письмо:

“Мои дорогие! Творятся чудеса – пишу вам из самой Москвы!.. А рядом со мной сидит как вы думаете кто? Беллочка!..” Это письмо я прочитала совсем недавно. Его передала мне незадолго до своей смерти сестра отца, с которой он очень дружил. У мамы же были сложные отношения с его родными, и поэтому я виделась с ними нечасто.

Так постепенно отец начал возвращаться ко мне. Он возвращался через рассказы Мельмана и других людей, с которыми учился в Литинституте, работал в Литгазете или служил в армии.

“Он открыл мне Маяковского, Пастернака, вообще поэзию в ее лучших, величайших проявлениях, – написал об отце один из его лучших друзей-сокурсников. – Перечитываю теперь книжки поэтов, которых когда-то читали вместе, и передо мною встает образ “первооткрывателя” – совсем еще юного Миши Миллера. Всегда думаю о нем с обожанием и признательностью... Живописью он увлекался самозабвен-

но”.

“Он был влюблен в литературу, а в поэзию особенно бескорыстно, фанатично. Любимые стихи готов был читать часами наизусть. Замечу при этом, вкус к поэзии у него был безупречный. А Пастернаку он готов был поклоняться, о Пастернаке готов был говорить бесконечно”, – так писал другой его приятель по институту.

А Наум Дмитриевич рассказывал мне: “В день моего рождения Миша подарил мне книгу стихов Пастернака в серо-голубом супере. Я не хотел брать, потому что это была единственная книга, которую он взял на фронт. “Бери, – настаивал он. – Из этой книги я все помню наизусть, а ты нет”.

Отец возвращался ко мне и через письма, которые дала мне моя тетя, через ее рассказы о любимом младшем брате Меличке. Она была смертельно больна, настоящее воспринимала туго, зато прошлое помнила до мельчайших деталей. И, когда она говорила об отце, казалось, что он жив и скоро вернется.

Спустя много лет я шла по его следу. Беседовала с теми, кто знал его в разные годы. Говорила и с Анатолием Михайловичем Медниковым – с ним отец пережил самое страшное время в своей жизни. С трудом, с болью вспоминал Анатолий Михайлович то, что произошло зимой 1942 года.

Об их самовольной отлучке в Москву узнал политработник газеты и потребовал трибунала. Это было время, когда вышел указ Сталина об усилении дисциплины в армии. От-

ца и его приятеля судили и приговорили к смертной казни. “Трибунал заседал в большой избе, – вспоминал Мельман. – Я вижу Мишу со спины, его бритый затылок. Он в шинели без хлястика и ремня. Хлястик срезали, ремень отобрали. И очки тоже. Помню его последнее слово. Он сказал только, что хотел бы честно посмотреть в глаза дочери”. После трибунала осужденных отвели в избу, которая служила тюрьмой, а через некоторое время отправили в Калужский централ. Там в камере смертников они провели девяносто дней. Камера помещалась на втором этаже и была заполнена самыми разными людьми. Каждую ночь кого-то уводили на расстрел, что часто сопровождалось истерикой и криком уходящих и остающихся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.